

*В. В. Врангель.*

**Петербургские  
Грущобы**

Петербургские трущобы

Всеволод Крестовский

**Петербургские трущобы. Том 1**

«Public Domain»

1864-1867

## **Крестовский В. В.**

Петербургские трущобы. Том 1 / В. В. Крестовский — «Public Domain», 1864-1867 — (Петербургские трущобы)

Роман русского писателя В.В.Крестовского (1840 – 1895) – остросоциальный и вместе с тем – исторический. Автор одним из первых русских писателей обратился к уголовной почве, дну, и необыкновенно ярко, с беспощадным социальным анализом показал это дно в самых разных его проявлениях, в том числе и в связи его с «верхами» тогдашнего общества.

# Содержание

ОТ АВТОРА К ЧИТАТЕЛЮ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	10
I	10
II	13
III	15
IV	18
V	21
VI	26
VII	29
VIII	31
IX	33
X	43
XI	50
XII	56
XIII	58
XIV	60
XV	62
XVI	65
XVII	70
XVIII	72
XIX	76
XX	81
XXI	83
XXII	84
XXIII	85
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	87
I	87
II	91
III	96
IV	99
V	103
VI	114
VII	117
Конец ознакомительного фрагмента.	119

# **Всеволод Владимирович Крестовский**

## **Петербургские трущобы**

### **Книга о сытых и голодных**

#### **Роман в шести частях**

#### **Том 1**

#### **ОТ АВТОРА К ЧИТАТЕЛЮ**

Прежде чем читатель раскроет первую страницу предлагаемого романа, я нахожу не лишним сказать ему несколько слов.

Когда еще до появления в «Отечественных записках» первой части моего романа, которая сама по себе составляет как бы введение, пролог к нему, я читал ее некоторым друзьям и знакомым – мне приходилось неоднократно выслушивать вопрос: да неужели все это так, все это правда?

Вопрос относился предпочтительно к темному миру трущоб. Весьма может статься, что он же придет в голову и незнакомому с делом читателю. Поэтому позвольте мне рассказать, каким образом пришла мне первая мысль настоящего романа, что натолкнуло на нее и что побудило меня приняться за мой труд. В этом будет заключаться маленькая история романа и ответ на вопрос: точно ли это правда?

Идея предлагаемого романа давно уже сделалась самой любимой, самой задушевной моей идеей. Первая мысль ее явилась у меня в 1858 году. Натолкнул меня на нее случай.

Часу в двенадцатом вечера я вышел от одного знакомого, обитавшего около Сенной. Путь лежал мимо Таировского переулка; можно бы было без всякого ущерба и обойти его, но мне захотелось поглядеть, что это за переулченко, о котором я иногда слышал, но сам никогда не бывал и не видал, ибо ни проходить, ни проезжать по нем не случалось. Первое, что поразило меня, это – кучка народа, из середины которой слышались крики женщины. Рыжий мужчина, по-видимому отставной солдат, бил полупьяную женщину. Зрители поощряли его хохотом. Полицейский на углу пребывал в олимпийском спокойствии. «Подерутся и перестанут – не впервой!» – отвечал он мне, когда я обратил его внимание на безобразно-возмутительную сцену. «Господи! нашу девушку бьют!» – прокричала шмыгнувшая мимо оборванная женщина и юркнула в одну из дверей подвального этажа. Через минуту выбежали оттуда шесть или семь таких же женщин и общим своим криком, общими усилиями оторвали товарку. Все это показалось мне дико и ново. Что это за жизнь, что за нравы, какие это женщины, какие это люди? Я решился переступить порог того гнилого, безобразного приюта, где прозябали в чисто животном состоянии эти жалкие, всеми обиженные, всеми отверженные создания. Там шла отвратительная оргия. Вырученная своими товарками окровавленная женщина с воем металась по низенькой, тесной комнате, наполненной людьми, плакала и произносила самые циничные ругательства, мешая их порою с французскими словами и фразами. Это обстоятельство меня заинтересовало. «Она русская?» – спросил я одну женщину. – «А черт ее знает, – надо быть, русская». Как попала сюда, как дошла до такого состояния эта женщина? Очевидно, у нее было свое лучшее прошлое, иная сфера, иная жизнь. Что за причина, которая, наконец, довела ее до этого последнего из последних приютов? Как хотите, но ведь ни с того ни с сего человек не доходит до такого морального падения. Мне стало жутко, больно и гадко, до болезненности гадко от всего, что я увидел и услышал в эти пять – десять минут. Я думал, что это

уже последняя грань петербургской мерзости и разврата – и я ошибся. Это был один только легонький мотивец, один только уголок той громадной картины, о которой я тогда не имел еще ни малейшего понятия, с которой познакомился поближе и покорооче только впоследствии, ибо картина эта прячется от официальной, показной жизни нашего города, и вообразить ее трудно, почти невозможно без наглядного, непосредственного знакомства с нею лицом к лицу.

Оставаться долее в этом приюте у меня не хватало силы: кроме нравственного, гнетущего чувства, начинало мутить физически. Я уже направился к двери, как вдруг две кутившие личности мужского пола и весьма подозрительной наружности заметили синий околыш моей фуражки и мое студентское пальто. Один из них без всякой церемонии подошел ко мне. «Слышите, студент, есть у вас деньги?» – «Есть. А что?» – «Дайте мне взаймы – сколько есть; у нас не хватило, а выпить хочется». Я понял, что тут ничего не поделаешь, вынул бумажник, в котором на тот раз находилось только два рубля серебром, и отдал их подозрительному господину. Подозрительный господин поблагодарил и предложил выпить с ними вместе. Я попытался было отказаться. «Что же вы, брезгуете, что ли?» – обиделся он. После этого, конечно, надо было остаться; и вот за стаканом скверной водки я узнал мимоходом, урывками кое-что из жизни побитой женщины и ее товаров; но через эти урывки для меня скользила целая драма – такая драма, в которой «за человека страшно» становится.

Да, милостивые государи, живем мы с вами в Петербурге долго, коренными петербуржцами считаемся, и часто случалось нам проезжать по Сенной площади и ее окрестностям, мимо тех самых трущоб и вертепов, где гниет падший люд, а и в голову ведь, пожалуй, ни разу не пришел вам вопрос: что творится и делается за этими огромными каменными стенами? Какая жизнь коловращается в этих грязных чердаках и подвалах? Отчего эти голод и холод, эта нищета разъедающая, в самом центре промышленного богатого и элегантного города, рядом с палатами и самодовольно сытыми физиономиями? Как доходят люди до этого позора, порока, разврата и преступления? Как они нисходят на степень животного, скота, до притупления всего человеческого, всех не только нравственных чувств, но даже иногда физических ощущений страданий и боли? Отчего все это так совершается? Какие причины приводят человека к такой жизни? Сам ли он или другое что виной всего этого? Обвинить легко, очень легко – гораздо легче, чем вдуматься и вникнуть в причину вины, разыскать предшествовавшие «подготовительные и предрасполагающие» обстоятельства. Но вот в том-то и вопрос: как взглянуть на падшего человека: один ли он сам по себе виноват и причинен в своем безобразии и несчастьи? А если не один, то виноват ли еще, наконец, при его невежественности относительно самых первичных нравственных оснований, при его грубой неразвитости, при той ужасающей нас обстановке, которою он окружен безысходно, часто с первой минуты своего рождения на свет? Если же все это так, то не тяготеет ли часть этой вины на каждом из нас, на всем обществе нашем, столь щедром на филантропические возгласы, обеты и теории.

«Es ist eine alte Geschichte» – все эти вопросы, которые я предложил: не я их выдумал, и не я первый повторяю их. Да, «es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu»<sup>1</sup>, быть может, для иного читателя, которому и в голову они не приходили. А у нас таковых – надо сознаться – не занимать-стать пока.

В тот достопамятный – лично для меня – вечер, когда я впервые случайно попал в одну из трущоб, вопросы эти и мне пришли в голову. Та невидимая драма, которая осветилась для меня – частью по услышанным и подхваченным на лету урывками, частью же по собственной догадке и соображениям, – невольно как-то сама собою натолкнула меня, вместе с вышеизложенными вопросами, на мысль романа.

Я тогда же принялся за писанье и окрестил свое произведение «Содержанкой». Принялся за работу с жаром, исписал целую толстую тетрадь, но... ничего из этого путного не

<sup>1</sup> Это старая история... это старая история, однако она всегда повторяется (нем.) – из стихотворения Генриха Гейне.

вышло. Задача оказалась слишком велика и широка для той рамки, которая была первоначально избрана мною. Притом я спасовал перед действительностью: я не знал, не имел ни малейшего понятия о той жизни, за изображение которой так опрометчиво взялся, – подготовки у меня не было никакой, отношение слишком дилетантское – и я бросил свою работу, не покидая, однако, мысли об этом романе.

Мне эта мысль уже представлялась в виде общего физиологического очерка не одних только трущоб и вертепов, но петербургской жизни вообще. Я принялся за изучение этой жизни и ее типов с тех сторон, которые оказывались пригодными, подходящими для моей идеи. Через несколько лет исподвольных наблюдений я увидел ясно, что трущобы кроются не исключительно около Сенной, что они весьма многообразны, и поэтому дал своему роману его настоящее название.

Многим из читателей многое, быть может, покажется в нем странным, преувеличенным и даже невероятным; но это оттого, что мы не привыкли еще к гласному публичному обсуждению такого рода фактов и обстоятельств. Открытые судебные камеры<sup>2</sup> не замедлят познакомить нас со множеством неизвестных еще большинству явлений. Изменение системы тюремного заключения также принесет громадную нравственную пользу тем несчастным, которые теперь неизбежно являются самыми закоренелыми орудиями и двигателями порока и преступления. Люди компетентные, приходящие, по роду своих обязанностей, в ближайшее соприкосновение с этим миром, очень хорошо понимают истину моих слов, ибо знают, что достаточно просидеть в тюрьме за проступок какой-нибудь один месяц, чтобы человек, хотя и честный, но не имеющий твердых нравственных основ, вышел бы оттуда полным и формально готовым негодяем, который при первом удобном случае сделается уже преступником. Наконец, справедливость требует сказать, что в последнее время многое уже сделано относительно мира трущоб. Старые язвы мало-помалу уничтожаются: в центральной нашей трущобе – доме князя Вяземского – есть уже кое-какая возможность для нищего человека жить хотя немножко человеческим образом.

Я считаю при этом первою и приятною обязанностью принести мою благодарность лицам, которые своим содействием помогли мне ознакомиться с теми многообразными отраслями нашей жизни, что вошли в программу предлагаемого романа, – лицам, в следственной камере которых я знакомился с характером и личностями преступников, с фактами преступлений, подлежащих юридическому разрешению, и которые дали мне возможность спуститься в темный мир трущоб, чтобы самому, лицом к лицу, узнавать эту жизнь и нравы.

К глубокому моему сожалению, роман не выходит в свет в том виде, в каком написан и в каком бы мне, как автору, всегда хотелось печатать<sup>3</sup>. От этого некоторые эпизоды являются перед читателем в крайне неполном и неряшливом виде, так что отсутствие эстетического – а во многих местах и просто логического – смысла ни для кого не может остаться незамеченным.

Я надеялся избежать всех этих погрешностей в отдельном издании моей книги, но надежды мои не оправдались.

Итак, «Петербургские трущобы» и ныне, в отдельном издании, являются с прежними пробелами. Прошу читателя извинить их... Впрочем, поставя своим долгом относиться к печатному слову честно, я остаюсь – и навсегда останусь – при глубоко неизменном убеждении, что прямое слово правды никогда не может подрывать и разрушать того, что законно и истинно; а если наносит оно вред и ущерб, то только одному злу и беззаконию. Мною же – могу сказать по совести и смело – руководило одно лишь добросовестное желание добра и

---

<sup>2</sup> Крестовский имеет в виду судебную реформу 1864 г. По этой реформе учреждался гласный суд, формально независимый от министерства юстиции. (Ред.)

<sup>3</sup> Текст настоящего издания печатается по: В.В.Крестовский. Петербургские трущобы: Книга о сытых и голодных. В 3 т. 1935.

пользы. Но, как бы то ни было, я еще и еще раз прошу читателя извинить не мне, а этой книге ее пробелы.

Кроме общего наименования «Петербургские трущобы», я назвал еще роман мой «книгою о сытых и голодных». Надеюсь, что этим достаточно охарактеризовано ее содержание. Напрасно бы стал кто-нибудь в этом последнем названии выискивать какую-нибудь затаенную мысль. Оно означает почти непосредственно то, что и должно означать по самому смыслу употребленных в нем слов. Объяснимся. Я остаюсь совершенно чужд в моей книге каких бы то ни было сословных пристрастий, симпатий и антипатий. Я беру только то, что мне дает жизнь. Вкусно подносимое ею блюдо – я отмечаю, что оно вкусно; отвратительно – так и говорю, что отвратительно. Для меня в этом отношении не существует никаких каст и сословий, – писатель-романист должен стоять вне кружковых пристрастий к тому или другому. Для меня нет ни аристократов, ни плебеев, ни бар, ни мещан, – для меня существуют одни только люди – человек существует. И этих людей, вместо всяких каст, я делю на сытых и голодных, пожалуй, на добрых и злых, на честных и бесчестных и т.д.

Если книга эта заставит читателя призадуматься о жизни и участи петербургского бедняка и отверженной парии – трущобной женщины; если в среде наших филантропов и в среде административной он возбудит хотя малейшее существенное внимание к изображенной мною жизни, я буду много вознагражден сознанием того, что труд мой, кроме развлечения для читателя, принесет еще и частицу существенной пользы для той жалкой, темной среды, где голодная мать должна воровать кусок хлеба для своего голодного ребенка; где источником существования двенадцати-тринадцатилетней девочки является нищенство и продажный разврат; где голодный и оборванный бедняк, тщетно искавший честной работы, нанимается для совершения преступления мошенником сытым и более комфортабельно обставленным в жизни, причем этот ничем почти не рискует, а тот, за самую ничтожную цену, ради требований своего непослушного желудка, гибнет на каторге; где, наконец, люди болеют, страдают, задыхаются в недостатке чистого, свежего воздуха и иногда решаются если не на преступление, то на самоубийство, чем ни попало и как ни попало, лишь бы только избавиться от безнадежно мрачного существования, буде до этого крайнего исхода не успеют зачерстветь и оскотиниться настолько, чтобы потерять всякую способность к каким бы то ни было человеческим ощущениям, как нравственным, так и физическим, кроме инстинктов голода, сна и, часто, ненормально удовлетворяемой половой потребности. Здесь-то вот кроется наша невидимая язва, здесь наша горькая скорбь вавилонская, которая даже не вопиет о спасении, об исходе, по причине очень простой и несложной: она их не знает.

Быть может, кто-либо найдет, что изображение этих язв слишком цинично и даже неблагоприятно. Что ж делать, таков уж предмет, избранный мною. Да, впрочем, книга ведь не предназначается к чтению в пансионах и институтах для благородных девиц. В этом случае я могу ответить только словами покойного Помяловского: «Если читатель слаб на нервы и в литературе ищет развлечения и элегантных образов, то пусть он не читает мою книгу. Доктор изучает гангрену, определяет вкусы самых мерзких продуктов природы, живет среди трупов, однако его никто не называет циником; стряпчий входит во все тюрьмы, видит преступников по всем пунктам нравственности: отцеубийц, братоубийц, детоубийц, воров, подделывателей фальшивых бумаг и т.п. личностей, изучает их душу, проникает в самый центр разложения нравственности человеческой, однако и его никто не называет циником, а говорят, что он служит человечеству; священник часто поставлен в необходимость выслушивать ужасающую исповедь людей, желающих примириться с совестью, но и он не циник. Позвольте же и писателю принять участие в этой же самой работе и таким образом обратить внимание общества на ту массу разврата, безнадежной бедности и невежества, которая накопилась в недрах его». Слова уважаемого мною писателя пусть служат моим ответом и оправданием в глазах читателя элегантно-слабонервного; если же таковой сим не удовлетворится, то может на этих же стра-



ницах покончить чтение моего романа – и я, в таком случае, только почту своим долгом извиниться перед ним в том, что утруждал его прочтением этого несколько длинного предисловия.

Всеволод Крестовский

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАРЫЕ ГОДЫ И СТАРЫЕ ГРЕХИ

### I КОРЗИНКА С ЦВЕТАМИ

5 мая 1838 года, часов около девяти утра, у подъезда дома князя Шадурского остановилась молодая женщина и дернула за ручку звонка. Судя по ее наружности и костюму, в ней нетрудно было узнать горничную из порядочного дома. Она бережно держала в руках корзинку, покрытую широким листом белой бумаги и перевязанную вдоль и поперек широкою розовою лентою. Из-под бумаги пробивались свежие и душистые цветы.

Через минуту в двери щелкнул замок, и на пороге появился толстый швейцар, в утреннем дезабилье, с пологою щеткою в руках, и, увидя совершенно незнакомую женщину, спросил весьма нелюбезным тоном:

– Кого надо?

Женщина слегка изменилась в лице и, торопливо отдавая корзинку, проговорила слегка дрожащим и будто тревожным голосом:

– Передайте князю и княгине... тут цветы... Скажите, что от бельгийского консула... Приказали кланяться и отдать...

– Ладно, будет отдано! – ответил швейцар уже менее суровым тоном (вероятно, слова «от бельгийского консула» были тому причиной) и, приняв с рук на руки корзинку, скрылся за захлопнувшейся стеклянной дверью.

Женщина опрометью бросилась бежать до первого попавшегося извозчика, прыгнула, не торгуясь, в дрожки и быстро исчезла за углом улицы.

Швейцар, в ожидании пробуждения своих господ, поставил корзинку на массивную, резную дубовую скамейку, служившую необходимым дополнением к великолепным сеням с мраморными колоннами княжеского дома, и принялся за свою утреннюю работу – подметать гранитный мозаичный пол.

Вдруг, через несколько времени, в сенях, неизвестно откуда, послышался слабый крик младенца. Швейцар был очень изумлен этим совершенно необычайным обстоятельством и стал прислушиваться. Крик повторился еще, и на этот раз уже совершенно явственно из принесенной корзинки.

– Вот-те и бельгийский консул!.. Эко дело какое! – пробурчал себе под нос маститый привратник и тотчас же бросился на улицу, вдогонку за неизвестной женщиной. Но это была уже совершенно тщетная попытка, так как той и след давным-давно простыл. В раздумье о случившейся «оказии», потряхивая головою и разводя руками, возвратился он в свои сени и, поднявшись вверх по роскошной лестнице, кликнул, с подобающей таинственностью, княжеского камердинера и камеристку княгини.

Все втроем остановились они перед таинственной корзинкой, но никто из них не осмелился дотронуться и раскрыть ее – «на барское-де имя прислано», и потому на тройственном совете своем положили они – доложить обо всем немедленно же господам.

Камердинер направился на половину князя, а камеристка в спальню княгини.

– Ваше сиятельство!.. а ваше сиятельство! Бог милости прислал...

– А?.. что?.. – пробормотал князь спросонок.

– Бог милости прислал вашему сиятельству, – почтительнейше повторил камердинер.

– Какой милости?

– Корзинку с цветами-с...

– Что ты врешь? какую корзинку?

– От бельгийского консула... приказали кланяться и отдать вашему сиятельству.

– От какого бельгийского консула? – в недоумении допытывал князь, протирая заспанные глаза. – Что это, ты пьян, что ли?

– Никак нет, ваше сиятельство, а только я докладываю, что от бельгийского консула... бог милостью посетил... корзинка с цветами...

Князь Шадурский глядел во все глаза на своего камердинера и только пожимал плечами.

– Да объяснись ты, братец, по-человечески. В чем дело?

– Младенец-с...

– Какой младенец?

– Надо полагать, подкидыш... В корзинке этой самой положен... Мы без вашего сиятельства не осмелились...

– А!.. – произнес князь Шадурский, и личные мускулы его как-то кисло передернуло от заметного неудовольствия. Князь понимал и догадывался о том, чего не понимал и не мог догадаться его камердинер.

– Княгиня знает? – торопливо и озабоченно спросил он, подымаясь с постели.

– Мамзель Фани пошла докладывать их сиятельству.

– А!.. – и лицо князя опять передернуло.

Когда камеристка доложила о случившемся княгине, то княгиня ничего не сказала ей на это, и только как-то саркастически и коварно улыбнулась, но так легко, что эту улыбку почти невозможно было подметить... Казалось, что княгиня, подобно князю, понимала и догадывалась о том, чего не понимала ее горничная, и нельзя сказать, чтоб супруги остались особенно довольны посетившей их божией милостью.

– Поздравляю вас, князь, с приращением вашего семейства, – сказала княгиня при входе мужа в ее будуар, и сказала это так мило и любезно, что все колкие шпильки произнесенной ею фразы показались Шадурскому втрое колючее, так что он, закусив от досады нижнюю губу, процедил ей в ответ сквозь зубы весьма сухим и холодным тоном:

– Мне кажется, что это относится столько же и к вам, сколько ко мне... Корзинка прислана на наше общее имя.

– Я, по крайней мере, нисколько не виновата в этом, – столь же колко и как бы про себя заметила княгиня.

Шадурский пристально и сухо посмотрел ей прямо в глаза.

– В этом – да, нисколько! но в другом... – произнес князь с немалою выразительностью и остановился.

– В чем другом? – с живостью перебила его жена, – в чем?..

– Вы сами очень хорошо понимаете, о чем я говорю; так не заставляйте же меня хоть ради приличия называть вещи настоящими их именами! – сказал, он, не сводя глаз с лица жены, и потом добавил: – Пять месяцев назад меня не было в Петербурге... Да, потом, вы очень хорошо должны помнить, что три месяца я один без вас прожил в деревне.

Княгиня смутилась и покраснела. Теперь ей, в свою очередь, пришлось глотать мужнины шпильки. Она сидела на каленых углях и, видимо, искала случая дать другое направление разговору.

– А где же корзинка однако? что это ее не несут? – сказала она, озабоченно поднимаясь с места.

Корзинка была внесена камеристкою в комнату. Княгиня сама развязала узлы розовой ленты и приподняла лист белой бумаги.

Все втроем с любопытством наклонились над корзинкою. Там, среди цветов, лежала девочка, родившаяся, по-видимому, дня два-три назад. На ней были надеты сорочка тончай-

шего батиста и чепчик, отороченный настоящими кружевами. Лежала она, со всех сторон, как пухом, обложенная белою и теплою ватой. При ней находилась записка, весьма лаконического содержания: «Родилась второго мая. Еще не крещена», – и только. Склон букв ложился в левую сторону, очевидно, для того, чтоб нельзя было узнать, чья рука писала записку. По всей обстановке этой корзинки можно было предположить, что дитя принадлежало не совсем бедной матери и что, значит, не голод и нищета, а другие, неизвестные причины заставили ее расстаться с своим ребенком.

Подкидыш немедленно же был сдан на руки камеристке, до приискания ему более определенного положения, и унесен из будуара княгини, которая опять осталась с глазу на глаз со своим мужем. Несколько времени оба молчали. Видно было, что и тот и другая крепко задумались о чем-то в эту критическую минуту.

Княгиня первая прервала неловкое молчание.

– Что же вы намерены делать с этим ребенком? – спросила она. – Ведь, кажется, надо объявить, что ли, кому-то об этом.

– Вздор!.. Никому ничего объявлять не надо, а надо просто... – и князь опять остановился и задумался.

– Что же надо? – переспросила его жена.

– Надо нам объясниться с вами! – наконец выговорил он, собравшись с силами.

– Извольте; я готова...

– Дело вот в чем, – начал князь, как бы приискивая более удобные, подходящие выражения, – дело вот в чем: у нас с вами, княгиня, есть наш собственный сын и наследник моего имени – князь Владимир Шадурский, и потому... я не желаю, чтобы в доме нашем находились и воспитывались, рядом с нашим сыном, какие бы то ни было посторонние дети. Вполне ли вы меня понимаете? – спросил он, придавая как бы особенное значение этому последнему вопросу.

Княгиня потупила глаза и утвердительно кивнула головою.

– Не угодно ли вам будет отправиться за границу? – как бы неожиданно и бесцельно спросил он.

– Пожалуй... я подумаю...

– То-то, подумайте... А об участи этого подкидыша вы не беспокойтесь, – добавил он, вставая и выходя из комнаты. – Я сделаю для него все, что могу.

## II МАТЬ

Проскакав по выбоинам петербургской мостовой со всею возможною скоростью, на какую только способна полузамороженная извозчицья кляча, дрожки повернули в более глухую часть города и остановились в малолюдном Свечном переулке, перед небольшим деревянным домом. Сидевшая в них женщина поспешно и не разбирая сунула в руку извозчика какую-то ассигнацию, причем тот не преминул вернуть обычное: «Маловато!.. на чаек бы надо». Еще поспешнее соскочила она с дрожек и, тревожно оглядываясь назад и по сторонам – словно боясь погони, – скрылась в низенькой калитке деревянного дома.

Пробежав через дворик по настланным, ради грязи, доскам, она остановилась у небольшого флигелька, на стене которого была прибита скромная вывеска с надписью: «Небагме – повивальная бабка», и осторожно постучалась в дверь. К ней вышла женщина чисто-плотно-немецкой наружности, в белом чепце и любопытно, чуть не к самому носу, подставила ей, с вопросом, свою востренькую физиономию.

– Что, спит?.. Можно войти? – шепотом спросила ее приехавшая, хотя этот шепот ровно ни к чему не был тут нужен.

– Нет, не спит, все вас дожидается, – отвечала ей, также шепотом, немка. – Слава богу, что скоро приехали, а то я уже за нее боялась: очень много уж она беспокоилась...

Отворив осторожно дверь, женщина на цыпочках вошла в темную комнату больной. При виде ее больная с нетерпением приподнялась на подушках и с жадным ожиданием, пытливо вперила в нее свои черные, выразительные глаза.

– Ну что, Наташа? – с замиранием сердца спросила она. – Снесла?

– Ничего, слава богу, все хорошо... ничего... Снесла и отдала.

– Взяли они? – с возрастающим нетерпением допрашивала больная.

– Надо полагать, что взяли... Не выкинуть же младенца на улицу, – как-то деревянно рассудила в успокоительном тоне Наташа.

– Слава тебе господи! – с восторгом прошептала больная, и слезы закапали из ее прекрасных глаз.

– Что же вы плачете? Ведь все, слава тебе господи, удалось как не надо быть лучше! – утешала ее, между тем, Наташа, стараясь показать участие, в котором, однако, более проницательный человек мог бы подметить все ту же деревянную подкладку не то что равнодушия, а какого-то скрытого недоброжелательства.

– Я не от горя, Наташа; я от радости. Я теперь почти совсем ведь счастлива... Ведь, понимаешь ли ты, я могу, буду у них видеть ее... хоть издали, хоть как чужую, а все-таки видеть, знать... ведь все же лучше, чем совсем не видеть-то!.. Что делать!..

Наташа равнодушно, как совершенно посторонний человек, слушала эту исповедь больной, полную и радости, и надежд, и грусти.

– Ну, а что там... у нас, дома? Не слыхала ты? – неожиданно спросила больная после минутного раздумья.

– Ничего... все, кажись, пока спокойно, – ответила с маленькой запинкой Наташа, с запинкой потому, что на самом деле было далеко не спокойно. – Да вы не тревожьтесь, – прибавила она, – авось, бог даст, все как-нибудь обойдется.

Больная раздумчиво покачала головой.

– Едва ли, Наташа!.. не верится мне что-то! – со вздохом сказала она. – Уж где там обойтись!.. Мне, верно, на роду написано не знать ни покоя, ни счастья... Вот и ребенок мой в мае родился – верно, тоже весь век будет маяться, бедняжка...

– Это все одни пустяки; так только... старые люди занимаются – болтают. А то вот увидите, все перемелется – мука будет, – рассеянно заметила Наташа, как человек, которого занимают совсем посторонние и давно уже преследующие его скрытые помыслы.

Больная сначала закрыла глаза ладонями и потом махнула рукой, сделав головою такое движение, как словно хотела бы отогнать преследующую ее мысль.

– Ну, что думать об этом?.. – сказала она, стараясь обмануть самое себя как бы беззаботностью и равнодушием. – Умела сделать грех, умей и нести его!.. А вот что-то он не едет? И не пишет ничего...

– Авось, нынче заедет... Нынче-то уж, кажись бы, наверное должен был заехать!

– Да что ж он до сих-то пор ждал? зачем он до сих пор не приезжал ни разу?.. Ведь вот уж третий день сегодня, как я здесь!.. Ведь я писала ему... Он знает! – с тоскливым и недоумевающим укором спрашивала больная свою горничную, словно бы та могла ей дать какой-либо ответ на это и разрешить ее сомнения.

– Нет, уж после сегодняшнего – непременно приедет! – утешала Наташа тоном очень искусно подделанного участия.

– Дай-то бог, дай-то бог! – отвечала больная все с тем же недоверчивым покачиванием головы. – Грустно мне без него, Наташа, очень грустно!.. И что я за сумасшедшая! – продолжала она минуту спустя как бы сама с собой. – И за что я только так полюбила его! Как ведь полюбила-то! все позабыла, на все решилася!.. И за что все это? – сама не знаю... Так, как ты думаешь, Наташа, приедет? – неожиданно добавила она.

– Непременно приедет! Вот подождите, увидите сами!

– Ну, буду ждать!

Но больная тщетно прождала целый день: он не приезжал. Она мучилась, теряясь в догадках, и, конечно, всем этим страшно вредила своему положению. Наконец, к вечеру она получила письмо. От кого? – это была для нее совершенная неожиданность.

### III ТАЙНЫЙ ПРИЮТ

За три дня до описанного нами происшествия с корзинкой в кабинет старой княгини Чечевинской, одетой в траур по мужу, вошла ее дочь, княжна Анна, что вызвало на лице старухи знаки видимого неудовольствия: она терпеть не могла, чтобы кто-либо неожиданно прерывал мирное течение ее занятий. Это было утром, часов около двенадцати. Занятия старой княгини по утрам состояли в проверке прихода-расходных книг и расчетов, в перечислении наличных денег и т.п. Княгиня – если взглянуть на нее с оборотной стороны медали, то есть с той, которая, будучи сокровенной принадлежностью души, ускользает или умеет прятаться от постороннего светского глаза, – была то, что называется кулак-баба, да притом и просто-таки снабжена от матери-натуры достаточною долею скупости. Под старость, и особенно с тех пор, как покойный князь Чечевинский растратил, и растратил, по мнению княгини, самым эксцентричным образом, больше чем две трети своего состояния, эти качества в ней усилились весьма заметно. Но предаваться им она любила келейно, в кабинете, без помехи чьих бы то ни было посторонних глаз, – она старалась, чтоб не заметили ее наклонности, – и потому неудивительно, если неожиданный приход дочери вызвал на ее лице оттенок неудовольствия.

– Что тебе, – зачем ты меня беспокоишь? Ты знаешь, что я этого не люблю... – проговорила она, подвигая на лоб очки и поспешно закрыв расчетную книгу.

– Я к вам... мне надо...

– Что тебе надо?... Ничего не надо!.. от вас только одно беспокойство...

Старухе, видимо, хотелось поскорее избавиться от постороннего лица.

– Я получила записку от Зины. Она просит меня приехать, – ответила княжна, с трудом скрывая в лице невольные знаки какой-то страшной внутренней боли.

– Зачем это?... – возразила старуха. – Ведь они всем семейством, кажется, хотели быть к нам нынче вечером, – разве ты забыла?

– Я знаю... Но она пишет, чтоб я приезжала к ним с утра, а потом все вместе и будем к вечеру... Она очень просит – ей что-то очень нужно...

– Пустяки какие-нибудь!.. Закладывать экипаж, беспокоить людей и лошадей понапрасну – и все из-за пустяков! Как будто нельзя обождать...

– Я пешком пройду...

– Этого только и недоставало! Пешком... очень хорошо!.. Все-таки... человека беспокоить – ливрею надевать... Да куда тебе ехать? взгляни, бога ради, на тебе лица нет – так ты бледна, – прибавила она, взглянув на лицо девушки, которое действительно сквозило страшною болезненною бледностью...

– У меня голова болит немного... На воздух выйду, так и пройдет.

– Ну, хорошо, хорошо, только не беспокой меня пожалуйста; у меня бездна дел... Прикажи человеку проводить себя.

– Меня моя горничная проводит.

– Это еще что за новости? Что ты чиновница, что ли?

– Да она у меня отпросилась сегодня на целый день, так ей все равно... а человека что же беспокоить, – возразила княжна, стараясь последним своим замечанием подделаться в такт матери.

– Скажите, как велико беспокойство!.. Вздор, прикажи человеку. Ты уже одета? – спросила она, оглядывая платье дочери. – Могла бы одеть попроще что-нибудь – хоть старое траурное платье; утром ведь не к чему. (Это был тоже голос скупости.)

– На мне и то довольно простое платье, – возразила дочь.

– Ну это хорошо... бережливость никогда не мешает, – продолжая оглядывать княжну, заметила старуха. – Что это оно на тебе как будто дурно сидит?

– Нет, ничего... это вам так кажется...

– В талии как будто... что-то неловко!..

– Нет, ничего... я в корсете... оно сидит как нельзя лучше.

Талия княжны, действительно, донельзя была перетянута корсетом.

– Ну, хорошо, хорошо! только оставь меня, не мешай мне, пожалуйста, – поспешила отделаться старуха и по уходе дочери сейчас же опять принялась за работу.

Вернувшись к себе в комнату, княжна в изнеможении опустилась в кресло.

– Ну что?.. как? – спросила поджидавшая ее тут горничная.

– Приказала проводить человеку... Что делать с этим, уж я и не знаю!.. – через силу отвечала княжна, очевидно подавленная каким-то большим горем.

– Ну это еще ничего... Я пойду прикажу Петру... этот мой – не выдаст! Уж я обделаю, вы не беспокойтесь!

– Только как я пойду?.. Мне кажется, я не в силах... – с отчаянием проговорила княжна.

– Ничего, до кареты-то дойдем! – ободряла ее горничная. – Вы не сидите только, а старайтесь ходить полегоньку: ходить-то лучше, сказывают.

И она шмыгнула из комнаты отдать Петру приказание княгини.

Через десять минут княжна Чечевинская вышла на улицу в сопровождении ливрейного лакея.

– Ты, Петя, ступай себе, куда знаешь! – вполголоса сказала ему горничная, нагнавшая их за углом.

– Да куда ж я пойду? проводить велено...

– Ну, леший! не твое дело! Сказано – ступай, так и ступай!.. А через час вернись; да смотри у меня: молчок! а проверься – так только ты меня и знал!

Лакей любезно ухмыльнулся в ответ на приказание горничной и, отстав от княжны шагов на двадцать, незаметно свернул себе в сторону, до ближайшего трактира.

– Он ушел? – спросила княжна, когда горничная поровнялась с нею, и, получив удовлетворительный ответ, тотчас же спустила на лицо густой черный вуаль.

– Я решительно не в силах идти! – сказала она, остановившись в изнеможении. – Далеко еще до кареты?

Горничная в ответ кивнула головой на угол и побежала в том же направлении.

Полчаса спустя извозчицья карета со спущенными шторами, ехавшая все время с большой осторожностью, шагом, остановилась в Свечном переулке, у ворот деревянного дома.

Княжна и горничная вошли в серенький надворный флигелек с знакомой уже читателю скромной вывеской – «Небамме».

– Вам надо раздеться, сударыня, и лечь, вы так утомлены, – говорила востроносенькая женщина в белом чепце, с немецко-чистоплотной наружностью, заботливо помогая княжне скинуть ее платье. – Боже мой, да вы в корсете! – чуть не с криком добавила она и с выражением ужаса покачала головой.

– Что делать? надо было скрывать, – ответила Наташа. – Я уж и то все платья по ночам, тайком, понадевала.

– Но это нехорошо, это очень нехорошо! – продолжала покачивать своим чепчиком немка.

– Скажите, может все это окончится к вечеру? – спросила ее княжна.

– Это как бог даст, – ответила она, в затруднении, пожимая плечами.

– Но мне необходимо надо быть сегодня к вечеру дома.

– Это очень опасно...

– Что делать, но если иначе нельзя!



– Конечно, бывает иногда и так, но это очень опасно, говорю вам. Впрочем, посмотрим; может, вы еще и не в силах будете... теперь еще неизвестно... Но только вы очень рискуете, сударыня... Ваш корсет много беды тут наделал. Вы в первый раз? – спросила она.

– В первый.

– Ну, так почти наверное, что нельзя. Надо будет остаться... Вы будете слишком слабы, уж поверьте моей опытности.

– Что же мне делать! Боже мой, что делать мне!.. Это, значит, узнают... Я не скрою!.. – с отчаянием говорила княжна, ломая себе руки, тогда как сильные схватки болей донимали ее ежеминутно, еще увеличивая собою невыносимое страдание нравственное. У немки на глазах показались слезы. Она только пожала плечами и продолжала раздевать больную.

– Все бы ничего, только вот старая барыня... беспокойства много будет, если не вернемся к вечеру, – заботливо проговорила Наташа и поспешила отвернуться, чтобы скрыть невольно порывавшуюся на губы усмешку: она как будто была бы рада, если б княжна не вернулась к вечеру.

– Ну, мой грех, мой и ответ! – с решимостью проговорила княжна. – Я знаю, что надо делать. Есть у вас чернила и бумага?

Немка подала то и другое. Княжна села к столу и написала две записки: запечатав, она отдала их горничной, с приказанием отправить тотчас же на городскую почту.

– И как это вы, право, так, до последней минуты ходили! – удивлялась немка, укладывая больную в постель.

– Я ничего не знала... я думала, еще не время... Сегодня утром внезапно почувствовала, и то она мне сказала, а я и не знала бы, – ответила княжна, указав на Наташу.

Немка вышла из комнаты сделать необходимые приготовления.

– Она знает, кто я такая? – шепотом спросила княжна по-французски.

Горничная отрицательно покачала головою.

– Ты как ей сказала?

– Сказала, что вы просто так... девушка среднего круга, что надо скрыть от родных... ну, и ничего.

– Она не расспрашивала больше?

– Тридцать рублей дала в задаток, так и спрашивать не стала: «Это нам все равно», – говорит.

– Ну, слава богу!.. Только что-то будет дома, как нынче вечером Шипонина с дочерьми приедет!.. Ведь я сказала, что к ним пойду...

– Ай, ай, как же вы это так, не подумавши! – заботливо заметила Наташа.

– Где уж тут было думать! Я себя-то не помнила! Что первое взбрело на ум, то и сказала.

– Неравно узнают, – продолжала та притворно опасаться.

– Не узнают, если письмо раньше вечера дойдет; а если и узнают, так...

Княжна на минуту остановилась в тяжелом раздумье.

– Лишь бы он любил, а до остальных... Бог с ними! Мне все равно! – добавила она с глубоким и тяжелым вздохом.

Часов около шести вечера в комнате с закрытыми ставнями, сквозь щели которых слабо пробивался тонкий луч дня и сливался с матовым светом настольной лампочки, впервые раздался крик новорожденного младенца. Больная, услышав этот первый звук жизни своего ребенка, тоже слабо, но радостно вскрикнула и, изнеможенная страданием и избытком волновавших ее чувств, тотчас же впала в легкий обморок.

## IV УДАР ФАМИЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

Просчитав еще около часа по уходе дочери, княгиня встала с места, очень довольная собою и своими «делами». Она была скупа и на деньги, и на платье, и на кусок. Впрочем, приличие всегда соблюдала с отменной строгостью. Кодекс приличий и всемогущее «*que dira le monde*»<sup>4</sup> властвовали над душою старухи в равномерной степени со скупостью и скопидомством. Она покорялась им всем существом своим и всем существом трепетала перед роковою силою этого страшного что скажут?.. С тем уж она родилась, те понятия всосала с молоком матери, на том воспитывалась, прожила век свой и, под конец, почти что на том и помешалась. Ее дом, ее образ жизни, образ мыслей – все это могло служить, на глаза людей и близких и посторонних, образцом безукоризнейшего приличия, и все это заставляла ее делать неизлечимая болезненная боязнь этого «*que dira le monde*». Если бы что-либо в жизни княгини хотя на шаг отступило от установленного кодекса условий и приличий, если бы хотя малейшая вина легла на ее фамильное достоинство, старуха решительно не перенесла бы этого. Для нее уже был один подобный удар в ее жизни, – удар, нанесенный ее мужем, который, увы! часто позволял себе непростительные отступления от приличия, но княгиня скрыла этот удар в сердце своем и сумела довольно удачно замаскировать его перед обществом. Впрочем, об этом еще речь впереди.

Это была женщина даже с замечательной силой характера. Быв уже замужем, она сильно влюбилась в одного великосветского франта, *ant jaune*<sup>5</sup>, как их тогда называли, блиставшего в десятых годах; но не только что ему, а, кажись, даже самой себе не призналась в этом и задавила в душе своей чувство, не дав о нем светской молве ни малейшего намека, ни малейшей догадки. Она, например, совсем не любила своего мужа, но всю жизнь осталась безукоризненно верна ему. Вы думаете – отчего? сознание долга? – нет, не столько долга, сколько боязни этого что скажут? Она не допускала, чтобы о ней, княгине Чечевинской, осмелился кто-либо заикнуться с легкой улыбкой. Она не могла представить себе без ужаса свою фамильную репутацию с каким-либо темным пятнышком; репутация ее должна была быть чиста как кристалл – того требовал кодекс условий, усвоенный ею еще с раннего детства. И действительно, темное светское сословие, как известно, не щадящее почти ни одного имени хорошенькой женщины, умолкало перед именем княгини Чечевинской. В течение всей ее жизни о ней не ходило ни одной темной сплетни, и все глубоко уважали ее за ее безукоризненно чистую репутацию, а для самой княгини это был источник неисчерпаемой внутренней гордости.

По положению своему в свете она держала дом свой на соответственную ногу. На посторонние глаза скупость ее была решительно незаметна. Она умела в этом отношении поддерживать достоинство своего рода и состояния. Но зато, с глазу на глаз со своей душою, княгиня постоянно мучилась неотступным призраком расходов и издержек, всегда, впрочем, поневоле склонявшимся перед другим, сильнейшим призраком: *que dira le monde*. Она, например, без посторонних постоянно приказывала дочери носить скромное шерстяное платье – на том мудром основании, что «бережливость никогда не мешает, и почем знать, что еще может случиться и ожидать ее в жизни». Она даже себе очень часто отказывала в прогулке – на том основании, что неравно еще шина в колесе кареты лопнет или ось сломается – придется отдавать в починку и деньги платить, да и ливрея новая у лакея и армяк у кучера от излишнего употребления будут портиться и приходить в ветхость, а новые делать – опять-таки деньги платить. В отношении дочери она маскировала этот последний расчет тем, что «зачем излишне и людей и лошадей

---

<sup>4</sup> Что скажет общество? (фр.).

<sup>5</sup> Желтая перчатка (фр.).

беспокоить», – следовательно, выставляла причину, достаточно филантропичную и делавшую честь ее прекрасному сердцу. Так и теперь, по уходе дочери, она стала обдумывать, что не к чему лишний кусок к обеду готовить, и потому, под предлогом нездоровья, приказала сделать себе только бульон куриный, из коего мясо подать себе под легким соусом. Все эти мелочи доходили в ней до болезни, до мании какой-то; но, что всего страннее, княгиня очень хорошо сознавала это и потому тщательно старалась скрывать от всех свой недостаток, покоряясь своей другой, равносильной и уже известной читателю мании – что скажут?

Была у нее одна только слабость, перед которой иногда смирялась даже и мания скупости; эта слабость – слепая, безграничная любовь к своему сыну, которому она кое-когда даже деньги, кроме положенного содержания, давала и который сумел себя поставить в несколько независимое положение. Он жил в доме матери, но на отдельной квартире, которая нужна была ему в сутки минут на десять, не более, потому что застать его можно было везде, кроме дома. Сынок кутил, давал векселя на весьма порядочные суммы и прикидывался пред матерью положительным сыном, а мать ничего не подозревала и души в нем не чаяла.

Пообедав очень скромно куриным бульоном, старуха удалилась в свою молельню (она очень была благочестива) и принялась за чтение какой-то душеспасительной книги, над которой вскоре и задремала, что продолжалось до того времени, пока ей не объявили о приезде m-me Шипониной с дочерьми и племянницей. Племянница эта и была та самая Зина, подруга княжны Анны, к которой та и отпросилась нынешним утром.

У престарелой m-me Шипониной, кроме хорошенькой племянницы, были еще три нехорошенькие и престарелые дочери – три перезрелые и потому злющие девы, которых за глаза называли тремя грациями. Отличительные черты их были: наивная скромность, строгая нравственность, голубиная невинность и сентиментальная любовь к небесному цветку. Кроме этих трех, без всякого сомнения прекрасных качеств ходили о них еще слухи, будто каждая злющая великосветская сплетня истекала невидимым образом непременно из источника трех граций. К этому последнему источнику пылали они еще большею любовью, чем к небесному цветку.

Хозяйка очень любезно вышла в гостиную к приехавшему семейству и после обычных приветствий, не находя между ними своей дочери, спросила несколько удивленным тоном:

– А где же моя Анна?.. Или вы, mesdames<sup>6</sup>, ее дома бросили?

Те не совсем ясно поняли последнюю шутку старухи.

– Как дома? – спросила одна из трех граций.

– Ну да, дама, – продолжала любезно-шутливым тоном княгиня. – Я ее что-то не вижу с вами.

– А где она, в самом деле? – спросила хорошенькая Зина.

– Вы это должны лучше знать, – отшучивалась княгиня. – Впрочем, неужели это она прямо к себе прошла?.. какая глупая! – нежно-материнским тоном добавила она, хотя внутренне и вознегодовала на дочь за сделанную ею неловкость.

– Поди, попроси княжну поскорее сюда, к нам, – приказала она вошедшему на ее звонок человеку.

Тот пошел и через минуту воротился, объявив, что княжны нет дома.

Княгиня встревожилась.

– Что же это значит? Где же вы ее оставили, mesdames?.. Что с нею? Уж не больна ли она?.. Скажите мне, бога ради!

– Извините, княгиня, я не совсем понимаю вас, – возразила удивленная Шипонина.

– Как не понимаете! Да ведь она у вас же была?

– Когда?

---

<sup>6</sup> Сударыни (фр.).

– Сегодня! С двенадцати часов утра отправилась! – с возрастающим беспокойством доказывала княгиня.

Три грации вытянули шеи и ядовито навестили уши.

– Нет! она не была у нас сегодня, – ответила Шипонина.

– Но ведь вы ей писали? – продолжала старуха, обращаясь к Зине.

– Я?.. нет... да, я ей писала, – в замешательстве ответила Зина, понявшая, что тут, должно быть, нечто не совсем-то ладно, и не захотевшая выдать подругу, хотя решительно не знала, в чем дело.

Три грации подозрительно поглядели на хорошенькую Зину, которую они ненавидели от всей своей кроткой души.

– Кто проводил княжну? Позови сюда! – обратилась княгиня к лакею, и через минуту вошел Петр, бледный как скатерть.

– Ты провожал Анну Яковлевну?

– Я, ваше сиятельство.

В это время княгине подали письмо с городской почты.

Княгиня дрожащими пальцами быстро сорвала печать, стала глазами пробегать письмо и, мгновенно побледнев, без звука, как сноп, рухнула на пол.

Удар ее фамильной гордости был нанесен.

Все тотчас же бросились к бесчувственной старухе; поднялась беготня, суматоха, и в этой-то суматохе одна из трех граций ловко подхватила с пола полученную записку, и в то время, как княгиню уносили на руках в ее спальню, быстро и жадно пробежала ее глазами.

На желтоватом лице ее заиграла злорадная улыбка.

– *C'est charmant! c'est charmant!*<sup>7</sup> – шепелявила она каким-то захлебывающимся шепотом, закатывая под лоб свои крысиные глазки.

– Что? что такое? – приступили к ней, вместе с матерью, две остальные грации.

– После... после скажу вам все! – с наслаждением проговорила она, роняя письмо на прежнее место, и потом, приняв вид оскорбленной нравственности, присовокупила весьма величественным и даже строгим тоном: – Мaman! мы ни одной минуты более не должны оставаться в этом доме!

И семейство граций немедленно же удалилось из дома княгини Чечевинской.

Вот короткое содержание письма, столь поразившего старую княгиню:

«Я солгала, сказав вам утром, что иду к Зине. Если есть время, то найдите предлог предупредить Шипониных, чтоб они не приезжали. Постарайтесь скрыть от всех мое отсутствие, если это возможно... Я не могла признаться вам раньше – вы меня слишком мало любите. Сегодня я сделаюсь матерью».

Подписи не было, но рука княжны. Писано по-французски.

---

<sup>7</sup> Это очаровательно! это очаровательно! (фр.).

## V КНЯЖНА АННА

Ей исполнилось уже двадцать пять лет; следовательно, она давно перешла ту пору, когда девушки надевают чепец и переименовываются в дам, что обыкновенно случается с ними лет в девятнадцать, в двадцать или около того. А между тем княжна Анна была хороша собою – и все-таки осталась в девушках. Причиной этому послужило одно исключительное обстоятельство, в котором, впрочем, она несколько не была виновата.

Отец ее, князь Яков Чечевинский, по отзывам того общества, к которому принадлежал по положению своему, был весьма странный человек. Мы скажем вернее: он был русский человек, но человек надорванный. И дед, и прадед, и отец его принадлежали к разряду старых кряжевых натур. Эти же кряжевые свойства перешли и к князю Якову. Отец его, вместо того чтобы отправлять сына в раннем еще детстве для воспитания за границу, что водится-таки за нашими баррами, оставил его расти и воспитываться дома, у себя в деревне. Первый учитель его был старый дядька, потом старый поп, а затем уже русские учителя и, в силу всемогущего обычая, иностранный гувернер. Князь Яков отправился за границу не начинать, а доканчивать свое образование уже на двадцатом году своей жизни. Был он в нескольких германских университетах, получил даже магистерский диплом и вернулся в Россию, объездив из конца в конец почти всю Западную Европу. В университетские свои годы он познакомился с теориями французских энциклопедистов, но особенно пристрастился к учению масонов и сам был посвящен в каменщики одной ложи. В России для него готовилась уже видная карьера, но он предпочел остаться частным человеком. Вдруг декабрьские события двадцать пятого года весьма скомпрометировали, в известном отношении, личность князя Чечевинского, который был уже в то время женат более двенадцати лет и имел дочку, княжну Анну, и шестилетнего сына. Вся беда, однако, ограничилась для князя только безвыездным жительством в его собственной деревне. Жена и дети отправились туда вместе с ним. В весьма непродолжительном времени после этой ссылки характер князя заметно изменился. Он сделался угрюм и мрачен, по целым дням не выходил из кабинета или бродил по пустырям, упорно молчал и тоскливо, озлобленно грустил о чем-то. В это же время началась и эксцентричная (по мнению княгини) растрата состояния. Князь отсылал большие суммы на издание каких-то книг, заводил по всему околотку крестьянские школы да больницы, давал деньги своим и чужим крестьянам и многим иным лицам, которые только приходили к нему с просьбой по нужде, либо на какое-нибудь полезное предприятие. Очень многие, конечно, злоупотребляли при этом добротой и доверчивостью князя Якова. Но, при всем том, он не мог терпеть излишней благодарности. Чуть, бывало, начнет кто-нибудь по получении просимого куша: «Благодетель вы наш! чем и как благодарить вас?!» – князь тотчас же нахмурил брови и тоном, решительно не допускающим дальнейших возражений, произносил: «Ну, будет! довольно!» – и тотчас же уходил в свой кабинет. Таким образом были растрачены им более чем две трети его состояния. Княгиня все это видела и злилась, мучимая своей природною скупостью. Неоднократно пыталась она вступать с мужем в горячие объяснения по этому поводу, но тот никогда не отвечал ей ни слова, только молча, бывало, взглянет на нее строгим, стальным своим взглядом и сделает новые траты да затоскует еще угрюмее. Все это сносила еще кое-как княгиня; одного только не могла она снести: князь стал пить, – молча, с мрачною сосредоточенностью пить простую водку, запершись в кабинете, один на один со своим стаканом. Она с ужасом узнала об этой новой слабости своего мужа – и эта слабость была уже для нее непереносна: она решительно вопияла против целого цикла всех приличий и условий, созданных себе княгиней, аристократические нервы которой не только что не могли выносить присутствия пьяного человека, но ее корбило даже при одном рассказе о пьянстве и пьяницах. А тут вдруг пьяница, горький, упорный пьяница... и кто же? ее

собственный муж, ее – княгини Чечевинской! Княгиня, бесспорно, была умная женщина, но умная аристократическим умом; по этому-то последнему свойству она никак не могла понять своего мужа, и потому она стала внутренне презирать его. Это скрытое, подавленное в глубине души презрение освоилось вскоре с каким-то гадливо-нервным чувством при одной только мысли об этом человеке. Понятно, что при подобных условиях жизнь под одною кровлею делалась невозможна. Княгиня, долго раздумывавшая, как ей быть и что делать, решилась наконец оставить своего мужа. Но как оставить? Неужели разъехаться таким образом, чтобы дать повод светскому злословию предполагать не совсем доброкачественные причины этого разъезда или, что еще хуже, заставить его догадаться о причине настоящей, истинной? Самолюбие княгини и ее «*que dira le monde?*» решительно не допускали ничего подобного. Она решилась оставить его под предлогом необходимости воспитывать сына в столице и необходимости общества для дочери, княжны Анны. Но в последнем встретила упорное и настойчивое сопротивление со стороны мужа. Единственное существо, к которому он сохранил видимую привязанность, и привязанность нежную, сильную, несокрушимую, это была его дочь. Ей одной только были доступны движения его сердца; с нею одною только по временам он был разговорчив и откровенен; она одна только имела на него некоторое влияние. Не однажды, например, уговаривала она его не пить и просила дать ей слово, что он будет удерживаться от водки. Князь слова ей в этом никогда не давал, потому что свято чтит его, но от рюмки, действительно, воздерживался некоторое время – и это было для него мучительно: он проклинал себя и свою слабость и все-таки шел к дочери, умоляя ее на коленях и чуть не со слезами простить, не презирать его и позволить ему пить снова. Пьянство обратилось у него в непреодолимую, мучительную страсть – и одна только дочь его ведала, какое неотступное горе топил он в стакане водки... И как становился он ласковее с нею, чувствуя себя перед ней виноватым! Но ласковость свою не любил он показывать перед посторонними глазами, – она выливалась у него наедине с дочерью, в кабинете или в поле. Здесь он рассказывал ей свое прошлое, передавал свои знания, свои столкновения с людьми, житейские опыты, раскрывал перед нею всю свою душу, со всеми ее заветными верованиями и мечтами, и дочка понимала его. Странное дело: еще с колыбели она была более привязана к отцу, нежели к матери – и мать менее любила ее за это. Впоследствии, когда черты лица и характер девочки стали приобретать разительное сходство с чертами отца, эта обоюдная любовь росла все более, а вместе с тем росла и холодность матери, обратившаяся мало-помалу даже в затаенное нерасположение к дочке. В эпоху, когда в князе Якове проявилась его несчастная склонность к пьянству, в этом семействе образовалось нечто вроде двух противоположных лагерей: один составляли отец и дочь, другой – мать с сыном, к которому страстная привязанность ее увеличивалась по мере ненависти к мужу.

Когда она объявила князю Якову, что жить с ним долее не имеет сил и уезжает под известным уже благовидным предлогом, князь только спросил ее:

– А Анна?

– Анну я беру с собою... Ей уже шестнадцать лет, ей необходимо быть в свете.

– Спроси ее, – согласится ли она ехать с тобою?

– Полагаю, что должна согласиться.

– А я полагаю, что, напротив, никак не согласится... Да и я без нее не останусь... нам расстаться нельзя.

Объявили Анне о намерении ее матери. Анна ответила, что не чувствует особенного влечения к свету и предпочитает остаться с отцом, после чего этот последний решительно уже сказал княгине, что не позволит ей взять дочь с собою, не отдаст ее. Княгиня, впрочем, и не тужила об этом нисколько. Для светских расспросов на сей конец она сразу нашла благовидный ответ, что дочь, дескать, осталась с отцом, который ее так любит, – услаждать дни его заточения и т.п. Разъезд их случился в 1829 году, после четырехлетней мученической жизни княгини в

деревне; и когда дорожный дормез ее выехал из ворот усадьбы, князь Яков вместе с дочерью как-то легче, как-то свободнее вздохнули.

Князь сам воспитывал свою дочку. Он отчасти следовал системе жан-жаковского Эмиля и держал маленькую княжну как можно ближе к простой, здоровой природе, стараясь, чтоб она прежде всего забыла, что она барышня и княжна. И действительно, мир сказок и песен, мир сельского и полевого быта были знакомы ей в совершенстве. Отец ее был поклонник и чтитель тихой, мирной и чистой древности, и вместе с тем мистик, как масон. То и другое невольным образом отразилось и на характере его дочери. Она мало могла назваться светской девушкой: близость к природе мешала ей сделаться ею и, напротив, помогла развиться впечатлительности, энергии и страстности ее характера. Жизнь ее с отцом была весьма однообразна, и надо было иметь сильную привязанность к нему, чтоб эта скучная жизнь не показалась невыносимой, особенно при непрерывном, мрачном запое отца, который с годами все усиливался, увеличивая и мрачную меланхолию. Таким образом княжна Анна прожила со времени отъезда матери целые восемь лет, почти никуда не выезжая и никого не видя. Ей наконец стукнуло двадцать четыре года.

В это время в соседнее свое имение приехал по каким-то обстоятельствам князь Шадурский. Обстоятельства эти потребовали визита к князю Чечевинскому и неоднократных бесед и соглашений с ним, так как дело было отчасти общее и касалось обоюдных интересов. Княжна Анна, естественно, не могла не встретиться с Шадурским, и к тому же она была слишком хороша собою для того, чтобы тот не обратил на нее внимания. Они познакомились.

Княжна была слишком исключительно поставлена; ее обстановка, жизнь, красота и характер – все это своей оригинальностью бросалось в глаза Шадурскому, который среди светской жизни привык к совсем иным образцам женщин и девушек. Княжна Анна, почти не выдавшая дотоле мужчин, осталась более чем приятно поражена умением говорить интересно и наружностью князя, который вполне являл собою тип великосветского *comme il faut*<sup>8</sup> того времени. Пусть вспомнит читатель, что то было время байронизма. Чайльд Гарольдов, Онегиных и прочих героев, которым старалось все подражать в Европе и которых пародировали, иногда очень удачно, очень близко к оригиналу, некоторые из наших тогдашних бар. Шадурский принадлежал к их числу. Внутреннюю пустоту, полутатарские инстинкты и мелочное ничтожество свое он как-то удачно умел прикрывать байроническо-великосветскою внешностью.

Со всеми этими данными не трудно было произвести сильное впечатление на душу девушки созревшей, полной силы, здоровья и страсти, но совсем неопытной и незнакомой с жизнью. Задавшись байронизмом, князь, естественно, должен был кое-что почитать, кое-чего понахвататься по верхушкам, так что мог «блистать» поверхностным разговором и, на неопытный глаз, казаться даже умным человеком. Это, конечно, еще усиливало впечатление, произведенное им на девушку.

Российского Чайльд Гарольда в деревне одолевала скука смертная. Все дела да дела, а это вовсе не в привычках великосветского барина. Князю нужно было развлечение. А тут, кстати, и развлечение под рукою. Попечительная судьба и на сей раз позаботилась о прихотях князя. Большие черные глаза княжны Анны ему очень нравились; ее стройный бюст, ее цветущие щеки и губы обещали ему много соблазнительно-приятных ощущений – князь любил-таки льстить своим ощущениям; наконец, вся ее исключительная обстановка как нельзя более заманивала его начать отчасти «байронический» и отчасти «сельский» роман. Отчего же князю и не развлечься на время? Отчего же князю и не пощекотать свое самолюбие сознанием в себе героя? Он и развлекся. С его бывалою ловкостью и ловеласовскою опытностью в делах этого рода ему нетрудно было окончательно увлечь княжну Анну. Князь не думал о последствиях, да и не боялся их. Княжна живет в глуши, в деревне, с пьяным и потому ничего не

<sup>8</sup> Приличный человек (фр.).

замечающим отцом; ей нечего бояться общественно-светского скандала: ее никто не знает; ей в этой глуши легче будет схоронить концы печальных последствий; отец ее так любит, что проклинать и затевать шуму, верно, не станет, а сам еще, может быть, поможет скрыть все от посторонних глаз. Сам же он, князь Шадурский, к тому времени уже уедет из деревни, – следовательно, все это произойдет без него. Да, наконец, что же такое значат для него и самые последствия-то? Ведь он человек женатый, – следовательно, с него взятки гладки. А если и пойдет глухая молва, то для его же самолюбия не зазорная, а, напротив, очень лестная. Значит, о чем же тут и думать? А главное – новый, оригинальный роман, при поэтической обстановке, и он – герой этого романа... как тут не соблазниться?

Князь и соблазнился...

Чайльд Гарольд необходимо должен быть разочарован – без того он и не Чайльд Гарольд. Он дожил до тридцати шести лет и все время скучал своею жизнью. Таковым он прикидывался перед княжною. Он говорил ей о каких-то страданиях, о несчастьи его в своей супружеской жизни, говорил, что рад «своей пустыне» (так именовал он родовое поместье), где наконец, разбитый и усталый, он нашел существо свежее, неиспорченное, чистое, которому и т.д. Одним словом, все те общеизвестные пошлости, которыми щеголяли во время оно наши российские Чайльд Гарольды, но которые для княжны Анны были новы, казались искренними и заставляли ее еще более симпатизировать ему.

Княжна беззаветно, без оглядки назад и вперед, отдалась ему всей целостью своей девственной любви, всей нетронутой страстью своей натуры – страстью, которая так долго, безвыходно зрела в ее сердце. И, естественно, чем дольше зрела она в этой здоровой и сильной натуре, тем сильнее было ее пробуждение.

Князь научил ее скрыть от отца их отношения, да отец, впрочем, и не замечал ничего. Она вся подчинилась нравственному влиянию своего любовника, и Шадурский был счастлив и доволен собою ровно два месяца, а затем...

Затем – он уехал в Петербург.

Спустя полторы недели после отъезда князя в жизни княжны Анны произошла первая катастрофа: отец ее опился и умер от апоплексического удара. Эстафетой дано было знать в Петербург. Старая княгиня Чечевинская с сыном не успели уже на похороны – они приехали поздно и, пробыв в деревне менее недели, увезли в Петербург княжну Анну.

Шадурский никак не ожидал подобной развязки. Это его и озадачило и огорчило. Княгиня Чечевинская была знакома с ним и его женою домами, – следовательно, встреча с княжною становилась для него неизбежной. Он успел уже обдумать, как ему следует теперь держать себя с нею – и бедная девушка с первого раза не узнала своего горячего, нежного любовника в этой холодной, прилично почтительной и сухой фигуре. О старом не было помина и намека, как будто его вовсе и не бывало. Однако она нашла случай объясниться с ним откровенно. Он объявил, что Петербург не деревня, что светские условия и страх за ее безукоризненную репутацию заставляют его держать себя с нею таким образом и что дольше продолжать им старые отношения, до более удобного времени, невозможно. Она сказала ему, что чувствует себя беременною. Князь очень испугался, старался ее, да и себя вместе с тем, разуверить в ее предположении, однако посоветовал на всякий случай, каким образом следует скрывать это от окружающих. Матери своей княжна, и без его совета, никогда не решилась бы открыться, – настолько-то она уже знала свою мать. Он обещал ей изредка, урывками видаться с нею, и когда настанет финал последствий их любви, то позаботиться об участии ребенка и придумать «что-нибудь такое, какой-нибудь исход», который бы не скомпрометировал ее репутацию. Во всем этом для бедной девушки было весьма мало утешительного. Она поняла, что от князя ждать больше нечего и что ей самой придется позаботиться о сокрытии страшных последствий этой связи. Но, разгадав его наполовину, она все еще так сильно любила, что ей и в голову не пришло обвинять его в чем-либо. Если кого и укоряла она во всем случившемся, то это только



самое себя. Князь, однако, после этих объяснений тщательно старался не возобновлять их, даже избегать с нею дальнейших, хотя сколько-нибудь интимных, разговоров, и при встрече всегда держал себя самым официальным образом, вежливо и холодно. Княжна с горечью заметила это и уже не докучала ему более собою, стараясь уверить себя, что он делает все это для пользы ее же собственной репутации.

А ему давно уже все это надоело: и его «байронически сельская» любовь и сама княжна с ее привязанностью. Он сильно-таки стал побаиваться скандала и потому решился держать себя совсем посторонним человеком, которого бы не коснулась светская молва. Он знал, что эта молва – страшное обоюдоострое оружие; она могла и польстить его ловеласовскому самолюбию, а могла тоже и поставить его в весьма невыгодном свете как честного, порядочного человека. А кто ее знает, как она, эта страшная, прихотливая молва, отнесется к его милому поступку?

## VI ГОРНИЧНАЯ КНЯЖНЫ АННЫ

Часа два спустя после рождения девочки княжна позвала к себе Наташу.

– Ты поезжай теперь к нам домой, – тихо сказала она. – Я не хочу, чтоб они знали, что ты помогала мне... Тебе и без того много достанется... Я сказала, что ты нынче отпросилась у меня... Впрочем, – прибавила она после раздумья, – делай, как знаешь... Там уж сама увидишь по обстоятельствам, можно ли сказать, где я... или ничего не говорить. Узнай, как и что делается... Завтра утром я жду тебя...

И Наташа простилась с княжной. Она вернулась домой в самый разгар истории, когда старая княгиня, допытывая, где ее дочь, получила с городской почты письмо. Ухаживая и суе-тясь вместе с прочею прислугой около бесчувственной старухи, Наташа случайно вошла в гостиную и увидела на ковре записку, брошенную одною из трех уехавших граций. Она поняла, что это было письмо княжны Анны, и поспешно припрятала его в свой карман.

\* \* \*

Судьба этой девушки была не совсем-то обыкновенна.

В одной из поволжских губерний жил в деревне барин, и жил в свое удовольствие: ездил на тоню ловить рыбу, травил с компанией зайцев, угощал соседей обедами и ужинами и на выборах клал всем белые шары – потому, значит, был благодушный человек. Барин этот доводился княгине Чечевинской родным братцем, и, по родственным чувствам, они искренне ненавидели друг друга еще от юности своея и никогда почти друг с другом не видались. У барина была экономка из его крепостных, которая, несмотря на приближенное свое звание, по беспечности барина так и оставалась крепостною. А у экономки была дочка, которую барин очень любил, очень деликатно воспитывал, баловал, рядил в шелк и бархат, выписывал для нее старушку гувернантку французского происхождения, учил танцевать и играть на фортепиано, – словом, что называется, «давал образование». Эта-то экономкина дочка и была Наташа. Она с детства еще отличалась капризным, своенравным и настойчивым характером, вертела, как хотела, и барином и дворней – и барин исполнял все ее прихоти, а дворня подобострастно целовала у нее ручки и звала «барышней».

Между тем в один прекрасный день барин накушался свиного сычуга и приказал долго жить, по беспечности своей не отпустив на волю экономку и не сделав никаких распоряжений насчет «молодой барышни». А барин был холост, и потому все имение его перешло немедленно к прямой наследнице – сестрице, княгине Чечевинской, которая и приехала туда вводиться во владение.

Наушничества и сплетни дворни сделали то, что сестрица, ненавидевшая братца, возненавидела и экономку, которую сослала на скотный двор, а дочку ее, в виде особенной милости, оставила при своей особе в горничных и увезла в Петербург.

Когда Наташа пришла прощаться к матери в ее светелку на скотном дворе, та с истерическим всем грохнулась на пол и долго не могла очувствоваться.

– Вот они что, ироды, наколдовали! – всхлипывала она, обнимая дочку, которая с молчаливым, озлобленным чувством глядела на горе матери. – Чем мы были, и что стали! Всякая посконница – судомойка последняя – и та над тобой нынче кочевряжится, как чумичкой какой помыкает!.. А тебя, краля ты моя распрекрасная, забывши то, как руки допрежь сего целовали, теперича за ровню свою почитают да надругаются!.. Ироды лютые!..

Наташа слушала и мрачно кусала ногти от бессильной злобы.

– Хорошо! – нервически проговорила она. – Мое нигде не пропадет! Будет и на моей улице праздник, буду и я опять в бархате ходить! А уж только и ей, старой ведьме, не пройдет это даром, как она меня унизила! Умирать буду, а не прощу ей этого.

Мать пытливо посмотрела на нее при этой многозначительной угрозе.

– Что же это ты такое задумала, мое дитятко?

– А уж что задумала – это мое дело... Слушай, матушка! – раздраженно прибавила она с сверкающими глазами и необыкновенно одушевленным лицом. – Слушай, что я тебе стану теперь говорить: прокляни ты меня на месте, если я не отомщу старой ведьме и всему ее роду за оскорбление! Прокляни ты меня тогда! Вот тебе мое слово! Уж так их всех ненавижу, как я, кажется, и нельзя уж больше! До тех пор не успокоюсь, пока не вымещу всего им!..

И прямо из светелки Наташа отправилась к старой княгине.

– Ваше сиятельство, – проговорила она кротким голосом и скромно опустил глаза (она умела хорошо притворяться и владеть собою), – я счастлива и благодарна вам, что вы пожелали приблизить меня к себе... Я очень хорошо понимаю, что я такое... Я умею чувствовать ваше расположение и никогда не позволю себе забыть, зная свое место... Я вам буду верной и преданной слугою... Только позвольте попросить у вас за свою мать.

У Наташи во время ее монолога навернулись даже слезы, которыми она думала тронуть княгиню.

Но тронуть ее вообще было не так-то легко.

– Моя милая, – отвечала ей старая барыня, – на вас и то уж все очень жалуются, что вы при покойнике притесняли всю дворню... Я для матери твоей ничего больше не могу сделать, а тебя, если будешь покорна и услужлива, стану хвалить и поощрять...

После этого решения Наташа, проговорив, что она всеми силами будет стараться, поцеловала руку княгини и вступила в новую свою должность. Много пришлось вынести ей нравственных страданий и всяческих унижений, – ей, которая с детства привыкла повелевать и считать себя полной госпожой, «барышней», – ей, которая и образом жизни, и понятиями, и воспитанием – этим лоском, и бойкой французской болтовней была уже сама по себе истая барышня! Переход был слишком крут и потому ужасен. Но, как девушка положительно умная и с сильным характером, она, поняв всю безвыходность своего положения, сумела сразу переломить себя и только в душе затаила непримиримую ненависть к княгине, с убеждением рано или поздно отомстить ей.

Она была очень хороша собою. Высокий, статный рост и роскошно развитые формы, при белом, как кровь с молоком, цвете лица, умные и проницательные серые глаза под сросшимися широкими бровями, каштановая густая коса и надменное, гордое выражение губ делали из нее почти красавицу и придавали ей характер силы, коварства и решимости. На первый же взгляд казалось, что если эта женщина поставит себе какую-нибудь цель, то, какими бы то ни было путями, она достигнет ее непременно. Физиономист определил бы ее так: королева либо преступница.

В описываемую эпоху ей было восемнадцать лет.

Когда после смерти князя Якова молодую княжну перевезли в Петербург, Наташе приказано отныне быть ее горничной, и в самое короткое время она своею вкрадчивостью успела приобрести ее полное доверие, сделаться наперсницей и почти подругой княжны Анны, конечно втайне от ее матери, а для этой последней – даже составляла предмет некоторой гордости. Известно, что большие барыни любят выписывать себе камеристок из-за границы, преимущественно француенок. Когда старую княгиню спрашивали при случае, откуда она добыла себе такую горничную, старая княгиня не без самодовольства отвечала:

– Своя собственная... из крепостных, из деревни привезена... Зачем отыскивать людей за границей, когда и своих, православных, можно хорошо приготовить?

И вслед за этим не без некоторой патриотической гордости прибавляла с улыбкой:

– О, из русского человека можно все сделать! Русский человек на все способен и на все годится!

Таким образом Наташа, никогда отнюдь не выходившая из строгой почтительности и покорства, сумела приобрести даже некоторое расположение самой княгини.

А злоба и ненависть между тем все глубже и крепче залегали в ее оскорбленном сердце.

## VII ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ КНЯГИНИ

Обморок старухи Чечевинской был весьма продолжителен и угрожал немалой опасностью. Наконец с помощью доктора ее удалось привести в чувство, хотя она тотчас же впала в беспамятство. Нервы ее были страшно потрясены, и болезнь становилась весьма серьезна. При ней день и ночь неотлучно дежурили три женщины: старая нянька ее сына, ее горничная и Наташа, которые по часам чередовались между собою. Между прислугой ходили разные темные слухи и предположения, но никто, кроме Наташи, не знал настоящей причины этой внезапной болезни, а Наташа молчала и тоже притворялась ничего не знающей. Беспамятство продолжалось двое суток. Наконец, на третьи сутки, в ночь, она очнулась и пришла в себя. У ее изголовья сидела дежурною Наташа.

– Ты знала? – строго и шепотом спросила ее княгиня.

Девушка вздрогнула и, не сообразясь с мыслями, испуганно недоумевающим взглядом глядела на нее. Матовый отсвет ночной лампочки неровно колебался на ее бледном, исхудалом облике и резко выделял углы носа и скул из затененных глазных впадин, в которых старческие, строгие глаза горели утомленно лихорадочным блеском. Больная была страшна и казалась гробовым привидением.

– Ты знала про дочь, я тебя спрашиваю? – повторила старуха, вперя в Наташу глаза еще пристальнее, с усилием стараясь приподняться локтями на батистовых, отороченных кружевами, подушках.

– Знала... – еще тише прошептала девушка, в смущении опустила глаза и стараясь оправиться от первого страшливого впечатления.

– Отчего же ты раньше не сказала мне? – продолжала еще строже старуха.

Наташа уже успела окончательно прийти в себя и потому подняла на нее невинный взор и с непритворным, искренним чистосердечием ответила:

– Княжна и от меня скрывала все до последнего дня... И разве смела я сказать вам?... И разве вы мне поверили бы?... Это не мое дело, ваше сиятельство.

Больная, с саркастической улыбкой, медленно и недоверчиво покачала головой.

– Змея... – прошипела она, со злобой глядя на горничную, и потом быстро прибавила: – Люди знают?

– Никто, кроме меня, клянусь вам!

– А письмо? – продолжала старуха, припоминая все подробности случившегося с нею.

– Вот оно. Его никто не заметил; я подняла его на полу и спрятала, – сказала девушка, вынимая записку.

– И ты не лжешь, это точно оно?

– Уверяю вас.

– Я хочу удостовериться... Прочти.

Наташа подошла к лампочке и прочитала записку.

– Да, это точно оно, – как бы про себя пробормотала старуха, тогда как нервная дрожь пробежала по всему ее телу во время этого чтения. – Сожги его... Или нет!.. ты, пожалуй, обманешь... Поддай сюда лампу – я сама сожгу.

И она дрожащею, костлявою рукою стала держать скомканную бумажку над колпаком лампы и жадными взорами следила, как бумажка коробилась и тлела на медленном огне.

– К кому она ушла? Где она теперь? – снова начала допытывать старуха, когда письмо истлело уже совершенно, и допрашивала так строго и так настоятельно, глядя в упор таким страшным взглядом, что не сказать правду даже и для Наташи было невозможно.

– У акушерки, в Свечном переулке, – ответила она, находясь под неотразимым, магнетическим влиянием этого старческого, пронизывающего взгляда.

– Дай мне перо и бумагу, да придерживай пюпитр... я писать хочу.

И княгиня, едва удерживая в руках перо и поминутно изнемогая от слабости, написала следующую записку:

«Можете не возвращаться в мой дом и не называться княжной Чечевинской. У вас нет более матери. Проклинаю!»

Далее она не имела уже сил продолжать, перо вывалилось из ее руки, и, совершенно изнеможенная, она опустила на подушки, прошептав едва слышно:

– Напиши адрес и отправь... сама отправь... утром...

– Я лучше снесу, – возразила Наташа.

– Не смей... Чтоб и видеть ее не смела ты больше, и не поминать мне об ней!..

И с этими словами старуха, изнеможенная волнением, впала в прежнее забытие.

Поручение ее в точности было исполнено Наташей, которая, однако, несмотря на запрещение, все-таки забежала, пользуясь свободными часами, в серенький домик с вывеской «Hebamme».

К полудню княгиня опять очнулась, приказала позвать сына, который, к счастью, на этот раз находился дома, и послала за управляющим своими делами.

Любящий сын тихо и почтительно вошел в комнату матери.

Княгиня выслала вон дежурную горничную и осталась с ним наедине.

– У тебя нет более сестры, – обратилась к нему мать с тою нервическою дрожью, которая возвращалась к ней каждый раз при воспоминании о дочери. – Она для нас умерла... она опозорила нас... я ее проклала. Ты мой единственный наследник.

При этих последних словах молодой князек чутко наострил уши и еще почтительнее нагнулся к матери. Извещение об этом единонаследии столь приятно и неожиданно поразило его, что он даже и не поинтересовался узнать, чем и как опозорила их сестра, и только с сокрушенным вздохом заметил, подделываясь в лад матери:

– Она, татап, всегда была непочтительна к вам. Она никогда не любила вас.

– Я делаю завещание в твою пользу, – продолжала княгиня, сообщив ему, по возможности кратче, обстоятельства княжны. – Да, в твою пользу – только с одним условием... чтобы ты никогда не знал своей сестры... Это моя последняя воля.

– Ваша воля для меня священна, – заключил сынок, нежно целуя ее руки.

Управляющий в тот же день формальным порядком поторопился составить духовную, княгиня подписала ее, и таким образом последняя воля ее была исполнена, к вящему удовольствию князька, который в глубине своей нежной сыновней души сладко помышлял только о том, скоро ли матушка протянет ноги и тем даст ему возможность, что называется, «протереть глаза» ее банковым билетам и поставить, при случае, «на пе» родовые поместья?

## VIII ЛИТОГРАФСКИЙ УЧЕНИК

В тот же самый день в маленькой узенькой конурке одного из огромных и грязных домов на Вознесенском проспекте сидел рыжеватый молодой человек. Сидел он у стола, понадвинувшись всем корпусом к единственному тусклому окну, и с напряженным вниманием разглядывал «беленькую» – двадцатипятирублевую бумажку.

Комнатка эта, отдававшаяся от жильцов, кроме пыли и копоти, не отличалась никаким комфортом. Два убогие стула, провалившийся волосяной диван с брошенной на него засаленной подушкой, да простой стол у окна составляли все ее убранство. Несколько разбросанных литографий, две-три гравюры, два литографских камня на столе и граверские принадлежности достаточно объясняли специальность хозяина этой конурки. А хозяином ее был рыжеватый молодой человек, по имени Казимир Бодлевский, по званию польский шляхтич. На стене, над диваном, между висевшим халатом и сюртуком, выглядывал рисованный карандашом портрет молодой девушки, личность которой уже знакома читателю: это был портрет Наташи.

Молодой человек так долго и с таким сосредоточенным вниманием был углублен в рассматривание ассигнации, что, когда раздался легкий стук в его дверь, он испуганно вздрогнул, словно очнувшись от забытья, даже побледнел немного и поспешно сунул в карман двадцатипятирублевую бумажку.

Стук повторился еще, и на этот раз лицо Бодлевского просияло. Очевидно, это был знакомый и обычно условный удар в его дверь, потому что он с приветливой улыбкой отомкнул задвижку.

В комнату вошла Наташа.

– Что ты тут мешкал, не отпирал-то мне? – ласково спросила она, скинув шляпку, бурнус и садясь на провалившийся диван. – Занимался, что ли, чем?

– Известно, чем!

И вместо дальнейших объяснений он вынул из кармана бумажку и показал Наташе.

– Нынче утром расчет от хозяина за работу получил, да вот и держу при себе, – продолжал он тихим голосом и снова защелкивая задвижку. – Ни за квартиру, ни в лавочку не плачу, а все сию да изучаю.

– Нечего сказать, стоит, – с презрительной гримаской улыбнулась Наташа.

– А то, по-твоему, не стоит? – возразил молодой человек. – погоди, научусь – богаты будем.

– Будем, коли в Сибирь не уйдем! – шутливо подтвердила девушка. – Это что за богатство! – продолжала она. – Игра свеч не стоит. Я вот раньше тебя буду богата.

– Ну да, толкуй!

– Чего толкуй? Я к тебе не с пустяками, а с делом нынче пришла... Ты вот помоги-ка мне, так – честное слово – в барышах будем!..

Бодлевский с недоумением смотрел на свою подругу.

– Я ведь тебе говорила, что с моей княжной скандал случился... Мать уж и от наследства сегодня утром отрешила ее, – рассказала с злорадной улыбкой Наташа, – а я нынче у нее в комнате порылась в ящиках да кое-какие бумажонки с собою захватила.

– Какие бумажонки?

– А так – письма да записки разные... Все до одной рукою княжны писаны. Хочешь, я тебе их подарю? – шутила Наташа. – А ты поразгляди-ка их хорошенько, попристальней: изучи ее почерк, да так, чтобы каждая буква была похожа. Тебе это дело знакомое: копировщик ты отличный – значит, и задача как раз по мастеру.

Гравер слушал и только пожимал плечами.

– Нет, шутки в сторону! – серьезно продолжала она, усевшись поближе к Бодлевскому. – Я задумала не простую вещь: будешь благодарен! Объяснять все теперь некогда – узнаешь после... Главное – ты лучше изучи почерк.

– Да зачем же все это? – недоумевал Бодлевский.

– Затем, что ты должен написать несколько слов, но написать под руку княжны так, чтоб почерк похож был... А что именно нужно писать, это я тебе сейчас же продиктую.

– Ну, а потом?

– Потом поторопись достать мне какой-нибудь вид или паспорт, под чужим именем, и свой держи наготове. Да руку-то изучи поскорее. От этого все зависит!

– Трудно. Едва ли сумею... – процедил сквозь зубы Бодлевский, почесав у себя за ухом. Наташа вспыхнула.

– А любить меня умеешь? – энергично возразила она, вскинув на него сверкающие досадой глаза. – Ты говоришь, что любишь, так сделай, если не лжешь! Бумажки же учишься делать?

Молодой человек в раздумье зашагал по своей конуре.

– А как скоро надо? – спросил он после минутного размышления. – Дня этак через два, что ли?

– Да не позже, как через два дня, или все дело пропало! – решительным и уверенным тоном подтвердила девушка. – Через два дня я приду за запиской, и паспорт чтоб был уже готов мне.

– Хорошо, будет сделано, – согласился Бодлевский.

И Наташа стала диктовать ему содержание записки.

Тотчас же по уходе ее гравер принялся за работу.

Весь остальной день и всю ночь напролет прокорпел он над принесенными ею листками, вглядываясь в характер почерка, сверял букву с буквой, слово с словом, и над каждым штрихом практиковался самым настойчивым образом, копируя и повторяя его чуть ли не по сто раз, пока, наконец, достигал желаемой чистоты; он перемарал несколько листов бумаги и самым упорным, что называется, микроскопическим трудом одолевал каждую букву. Он достиг уже того, что изменил свой почерк; оставалось еще придать ему непринужденную легкость и естественность. От натуги кровь бросилась ему в голову, в ушах звенело, и в глазах давно уже рябили зеленые мушки, а он все еще, не разгибая спины, продолжал работать.

Наконец, уже утром, записка была кончена, и под нею подписано имя княжны. Исполнение отличалось истинным мастерством и превзошло даже собственные ожидания Бодлевского. Легкость и чистота отделки были изумительны. Гравер, взглянув на почерк княжны, сличил его со своей работой и сам удивился – до какой степени поразительно было сходство.

И долго после этого любовался он на свое произведение, с тем отрадным отеческим чувством, которое так знакомо творцу-художнику, и лишь здесь-то, над этой запиской, впервые с гордостью сознал в себе истинного артиста.



## IX ЕРШИ

– Половина дела сделана! – решил он сам с собою, вскочив с провалившегося дивана после нервно-беспокойного часового полусна.

– Ну, а паспорт? Вот тебе и осечка! – озадачился гравер, вспомнив вторую часть неременного поручения Наташи. – Паспорт... Да... осечка... – долго бормотал он в раздумье, опустив голову и уперев худощавые руки в угловатые колена свои. Наконец, перебирая в уме разное возможное и невозможное, подходящее и неподходящее, набрел он случайно на воспоминание об одном земляке, сапожном подмастерье Юзиче, который, по собственному откровенному сознанию в хмельную минуту, «более чувствует охоты к швецам-рукодельникам<sup>9</sup> и к портняжному искусству, чем к сапожному ремеслу». Малый, значит, отчасти подходящий и в задуманном деле какие-нибудь лазейки указать может. Он уже с год назад был прогнан от «честного сапожного немца, Окерблюда», за пьянство с буйством и безобразием, да за то еще, что соседнему целовальнику стали уж больно часто «приходиться по нраву» окерблюдовские голенища, подошвы и прочий выростковый и опойковый товар. С тех самых пор Юзич решил, что не следует заниматься таким неблагодарным ремеслом, за которое хозяева выгоняют в шею да еще вором обзывают всеартельно, а лучше-де призаняться искусством свободным – хотя бы на первый случай карманным, а там швецовым или скорняжным, а затем, при дальнейшем развитии, можно и в ювелиры начистоту записаться<sup>10</sup>. И стал он, раб божий, вольною птицею лыжи свои направлять с площади на улицу, с улицы в переулок, из трактира в кабак, из кабака в «заведение» и все больше задними невоскресными ходами<sup>11</sup> норовил, с тех темных, незаметных лесенок, по которым спускается и подымается секрет, то есть свои, темные людишки, кои не сеют, не жнут и пожиное целовальникам да барышникам-перекупщикам сбывают. Полюбился ему как-то особенно душевным образом некий приют, в просторечии неофициально «Ершами» называемый; там он и резиденцию свою основал, и незаметным образом пристал к ершовскому хороводнику<sup>12</sup>. Любили ершовцы посещать Александринский театр – благо не очень далеко от «Ершей» находится, – и Юзич вместе с ними театралом сделался. Ершовцы же в Александринском театре не столько искусством артистов пленялись, сколько рыболовному промыслу себя посвящали – «удили камбалы и двуглазым<sup>13</sup> спуску не давали».

Вот про этого-то самого Юзича, земляка и сотоварища по первой школе, и вспомнил так упорно задумавшийся Бодлевский. Вспомнил, что месяца три назад встретил он Юзича на улице, зашел с ним в первый же трактир и там, за бутылкою пива, которым великодушно угостил его Юзич, разговорился с ним по душе о превратностях судеб вообще и своих незавидных обстоятельствах в особенности. Совета Юзича насчет хороводника Бодлевский не принял, ибо намеревался посвятить себя искусству самой высшей школы – превращать чистые бумажки в кредитные билеты государственного банка. Юзич, между прочим, радушно пожимая руку на прощанье, сказал своему товарищу:

– А если я тебе, друг любезный, на что-нибудь понадобится или просто повидаться захочешь, так приходи на Разъезжую улицу, спроси там заведение «Ерши», а в «Ершах» Юзича, – там тебе и покажут. Я, брат, там завсегда ем. А ежели буфетчик притворяться станет, что не

---

<sup>9</sup> Вор, специализирующийся на кражах платья (жарг.).

<sup>10</sup> Воровское искусство высшего класса (жарг.).

<sup>11</sup> Замаскированный вход в заведение (жарг.).

<sup>12</sup> Участник воровской шайки из трактира «Ерши» (жарг.).

<sup>13</sup> Лорнет, бинокль (жарг.).

знает такого имени, – наставительно прибавил Юзич, – так ты только шепни ему, что «секрет», мол, прислал, тотчас тебя и допустят.

Все это очень ясно и очень подробно припомнил Бодлевский в эту затруднительную для него минуту, припомнил и воспринял просветленным духом своим. Надежда на скорое и удачное исполнение второй части Наташиного поручения начала блистать пред ним яркими лучами. Улыбаясь, стал он одеваться; улыбаясь, сбежал с лестницы и, улыбаясь же, фертм пошел по улице, по направлению к Загородному проспекту, в который у Пяти Углов впадает Разъезжая улица.

\* \* \*

Продолжением Разъезжей улицы служит Чернышев переулок. Поэтому и та и другой – не что иное, как одна и та же артерия, соединяющая два такие пункта, как Толкучка, с одной стороны, и с другой – Глазов кабак, находящийся на Лиговке, по Разъезжей же улице, в тех первобытных странах, известных под именем Ямской, где обитает преимущественно староверческая, раскольничья и скопческая часть петербургского населения. Туда же тянется и татарская.

Странное, в самом деле, явление представляют осадки петербургской оседлости. В Мещанских, на Вознесенском и в Гороховой сгруппировался преимущественно ремесленный, цеховой слой, с сильно преобладающим немецким элементом. Близ Обухова моста и в местах у церкви Вознесенья, особенно на Канаве, и в Подъяческих лепится население еврейское, – тут вы на каждом почти шагу встречаете пронырливо-озабоченные физиономии и длинно-полые пальто с камлотовыми шинелями детей Израиля. Васильевский остров – это своего рода *status in statu* – отличается совсем особенной, пустынно-чистоплотной внешностью с негоциантски-коммерческим и как бы английским характером. Окраины городского центра, как, например, Английская, Дворцовая и Гагаринская набережные, и с другой стороны Сергиевская и параллельно с нею идущие широкие улицы представляют царство различных палаццо, в которых засел остаток аристократический и вечно лепящийся к нему, как паразитное растение, элемент *quasi*-аристократический или откупной. Впрочем, та часть этого последнего разряда, которая резюмируется Сергиевской улицей, кроме аристократического, имеет еще характер отчасти военный, и именно учено-военный, с артиллерийским оттенком. Но все то, что носит на себе характер почвенный, великороссийский, – все это осело в юго-восточной окраине города, все это как-то невольно тянет к Москве и даже, по преимуществу, сгруппировалось в части, которая и название-то носит Московской.

Загородный проспект и особенно Разъезжая улица с Чернышевым переулком являются самыми живыми, самыми сильными и деятельными артериями этой последней части.

Мы уже сказали, что Разъезжая с Чернышевым соединяют два такие пункта, как Толкучка и Глазов кабак. Поэтому они вечно кишат снующим взад и вперед народом. Но это не народ Невского проспекта, – «чистой публики» вы здесь не встретите. Изящный экипаж, и модный джентльмен, и изящно одетая дама составляют здесь редкое исключение (мы не говорим о Загородном проспекте). Публика Чернышева и Разъезжей в общей массе своей носит сероватый характер, с примесью громкого, крепкого говора и запаха пирогов, продающихся на лотках под тряпицею. Тут все народ, заботящийся о черствых повседневных нуждах, о работишке да куске насущного хлеба.

На всем пространстве этих двух улиц, от Толкучки до Глазова, вы встретите отчасти странные личности, то в чуйках, то в холуйских пальтишках, то отставных солдат с ворохом разного старого платья, перекинутого на руку. Эти странные личности, с пытливым, бойким и нагло-беспокойным, как бы вечно ищущим, взглядом, называются «маклаками» или «барышниками-перекупщиками». Место действия их не один Чернышев и Разъезжая, – Щербаков переулок, двор мещанской гильдии, Садовая, лестницы средней и низшей руки трактиров и

площадки театров во время спектаклей служат им постоянно ареною деятельности. На театральных площадках, где несколько маклаков стараются перебить друг другу товар, дело иногда доходит до такой запальчивости, что они, подхватывая выносимую им добычу, вырывают ее друг у друга из рук, ломают часы и театральные трубки и рвут платки пополам. Дело зачастую доходит до драки, а в накладе остается все-таки мазурик, у которого вырвали и перепортили добытую им вещь. Маклаки постоянно находятся в тесных и непосредственных сношениях с тем теплым людом, к которому принадлежал Юзич, и эксплуатируют этот люд самым бесчеловечным образом. У тех и у других очень много общего, и, между прочим, этот взгляд, по которому вы очень легко можете признать маклака и мазурика. Таковой характер взгляда вырабатывается жизнью и промыслом, которые ежечасно подвержены стольким превратностям всяческих случайностей.

Если вы – прохожий и несете что-нибудь в руках, маклак тотчас же оглядит вас своим пытливым взглядом – нет ли чего «подходящего», и тихо, но внятно спросит: «Продаете, что ль?»

Если идет приезжий мужичонко, купивший для себя на Толкучке порты, маклак непременно предложит ему сменяться. Мужичонко часто не прочь от такого рода операции. Маклак берет его порты, разглядывает их на свет и так и эдак, выворачивает наизнанку, растягивает материю, трет ее и шупает между пальцами. Это называется «крепость ошмалашить». А мужичонко все время с пытливым недоумением тупо смотрит на все эти проделки, после которых маклак, в озабоченном раздумье, перебрасывая совсем новенькие, крепкие и хорошие порты с ладони на ладонь, словно бы измерявая вес их, с страдательной рожей цмокает языком и цедит сквозь зубы:

– Эх!.. жаль, паря!

– Чего жаль? – тупо вопрошает, с испуганным лицом, ничего не понимающий мужичонко.

– «Чего!..» Известно, чего, – тебя жаль! Что дал за порты?

– Сорок копеек на серебро выходит...

– Сорок на серебро?.. Ну, брат, дрянь твоё дело! Надули, совсем надули! Экий народ шельмовский в Питере живет!.. Вот, гляди сам – пестрядь-то как есть гнилье выходит.

– Да где же гнилье?

– «Где!..» все-то тебе где!.. Значит, я чувствую, – под пальцами некрепко шуршит – вот те гнилье-то где!

– Эко горе какое! – грустно-досадливо произносит мужичонко, совсем уверовавший в силу приведенного аргумента и ударив руками об полы зипунишка.

– Что за горе! Горю, милый человек, помочь можно, – утешает маклак, успевший своими ловкими приемами сразу огоршить простоватого мужичонку. – Давай, что ли, меняться! Вот тебе порты, так уж порты! как есть в самом разе настоящее дело! Одно слово – красота!.. Пощупай-ко?

– Да что... я ведь не тово... – возражает мужичонко.

– Нет, ты, брат, пощупай! ты разницу, значит, почувствуй, – потому: я на чистоту, из одной только жалости, выходит.

Мужичонко шупает, ровно ничего не понимая.

– Ну, видишь сам теперь! Мозги, чай, есть в голове! – спешит убедить его перекупщик. – Давай, что ли, порты, да в придачу двугривенник менового – и дело с концом! По рукам, что ли! – заключает он, ловя мужичонкину руку и норовя хлопнуть по ней ладонью.

– Да как же это?.. еще двугривенник?

– Вот-те Христос – свою цену беру! с места не сойти! лопни глаза мои!.. Я ведь с тобой по-божескому – поди, чай, ведь тоже хрещенные, и крест, значит, носим – занапрасну божиться

не стану. А беру свою цену из жалости, значит, потому: шельмы – хорошего человека надули! Да и порты же, прах их дери! лихие порты ведь! – износу не будет!

Мужичонко раскошелливается и лезет за двугривенным. Маклак пронзительно устремляет взор свой в глубину его замшевой мошонки, и чуть заметит там относительное обилие бабок<sup>14</sup> – как оно там, значит, финалы<sup>15</sup> шуршат, либо цари-колесики<sup>16</sup> мало-мальски вертятся, позвякивают – тотчас же дружески хлопает он мужичонку по плечу и говорит ему необыкновенно мягко и задушевно:

– Милый человек! Что мне от тебя деньги брать!.. Я, значит, по душе... Лучше пойдем-ка вот – раздавим косушечку помалости, али пивка пару слакаем. Чем мне деньги с тебя в придачу брать, так мы лучше, наместо того, магарыч разоъем. Идет, что ли?

– Ладно, – соглашается мужичонко, который от косушки никогда не прочь, а сам думает себе: «Экого человека честного да хорошего господь-то послал мне, – совсем бы пропащее дело, кабы не он выручил».

И ведет маклак мужичонку так-таки прямо в «Ерши». С буфетчиком у них давно уже печки-лавочки – дело зарученое – свои люди – только глазом мигнет, так у того уж и смекалка соответствует: несет он им графин, мужичонку почтенным величает и речь свою с ним «на вы, по чистоте столичной, по политике держит». Мужичонко с нескольких стаканчиков, гляди, раскочевряжится, видя такое почтение от питерских к своей сиволапой особе. Напоит его маклак до забвения, заведет его с половым в квартиру<sup>17</sup> и облупит там дочиста, даже и порты в обратную придачу возьмет, да потом и вытолкают мужичонку на вольный воздух прохладяться; а сами примутся меж тем «слам растырбанивать», то есть делить на законные доли благоприобретенную добычу.

К такому-то милому месту направлялся Казимир Бодлевский.

\* \* \*

Дойдя до Пяти Углов, он остановился в раздумье, окинув глазами окрестную местность, и, к счастью, увидел будочника, который, опершись на алебарду, сонливо позевывал, прислонясь к стене спиной, поодаль от размалеванной черными и белыми полосами будки. Сей градской страж представился теперь Бодлевскому чем-то вроде путеводного столпа в пустыне, и потому он прямо направился к нему с вопросом:

– А где тут заведение «Ерши»?

Будочник недоверчиво и с проницательной подозрительностью посмотрел на Бодлевского.

– Какое заведение? – неторопливо переспросил он.

– «Ерши».

– «Ерши»? Нет такого! – недоверчиво ответил он Бодлевскому, продолжая вглядываться в него своими сонными глазами и как бы соображая: «Какого, мол, полета может быть эта птица?»

– Да как же это нет? – с беспокойством заговорил Бодлевский, которого стал покидать светлый луч надежды. – Как же, братец мой, нет, когда мне за верное сказали, что есть?

– А кто сказал-то? – отнесся к нему недоверчивый страж.

– Приятель один сказал...

---

<sup>14</sup> Деньги (жарг.).

<sup>15</sup> Ассигнации (жарг.).

<sup>16</sup> Серебряный рубль, серебряные деньги (жарг.).

<sup>17</sup> Одна комната (жарг.).

Будочник ухмыльнулся, и хотя все еще не совсем-то доверчиво, но переменял свой официальный тон на более фамильярный и бесцеремонный.

– А зачем те «Ерши»-то? – спросил он.

– Надо... по своему делу... Приятеля там сыскать надо...

– Ишь ты!.. приятеля... – продолжал страж все с тою же ухмыляющейся харей, но уже без оттенка сомнения и недоверчивости.

– Ну, так что же, служивый? скажи, брат, пожалуйста! Мне некогда...

– Ишь ты, какой скороспелый... А ты дай на уху, так скажу, где ерши водятся.

Бодлевский полез к себе в карман отыскивать какую-нибудь мелочь.

– Что? аль свищет? – с издевкой поддразнил его будочник; но тот, к счастью своему, отыскал в жилете гривну меди и сунул в секретно протянутую руку градского стража, который тотчас же поспешно опустил ее по шву, как будто ни в чем не бывало, и дружелюбно указал ему дорогу.

– Ступай вон наперекоски... Второй дом от угла... Вишь, деревянный-то домишко – вот те и будут «Ерши».

Бодлевский перешел улицу в указанном ему направлении и очутился перед входною дверью деревянного домишки. Над этой дверью коротала свой старческий век полинялая от времени вывеска, где был изображен чайник, бильярд и рыба какая-то, а надписано просто: «Растерация». Надписи же «Ерши», которую Бодлевский ожидал встретить на вывеске, он, к удивлению своему, не нашел. В то время граверский ученик еще не знал, что название это усвоено «растерациею» не официально, а придано ей гласом народа. Генеалогию свою неофициальное название это ведет, по сказанию одних, от той причины, что «растерация» некоторое время славилась своею дешевою и отменною ухою из ершей, которых она, будто бы, даже поджаривала каким-то особенным образом; по сказанию других – название «Ерши» имеет смысл метафорический, происходящий оттого, что ершовские *habitués*, или завсегдатаи, больно уж были щетинисты и на язык и на кулаки с теми, кого они в особой потаенной комнате, известной у них под именем «квартиры», лущили в карты и кто вздумывал протестовать против этого очевидного лущения. Во время оно секретная картежная игра весьма сильно процветала в сем достолюбезном заведении.

Домишко этот существует еще до сих пор. В нем все так же помещается заведение, переименванное кличку «растерация» на новую кличку – «трактирное заведение». Это уже, значит, степенью выше и значит, что прогресс и для него существует, но консервативный глас народа по-старому продолжает именовать его «Ершами».

Прогресс «Ершей» выказался, впрочем, не в одной только подновленной вывеске да в перемене клички. Теперь и сами «Ерши» во всем своем составе подновились, несмотря на то, что более чем двадцатилетний срок времени должен был бы привести ветхий домишко в еще большую ветхость. Теперь они напоминают собою старуху подбеленную и подрумяненную, а в то время находились еще в состоянии старухи неподрумяненной.

«Ерши» – это длинное деревянное, одноэтажное здание со стенами, которые от времени осели в землю, так что окна высаятся над тротуаром немного более, чем на пол-аршина. По вечерам эти окна всегда завешивались красными кумачовыми занавесочками, каковыми и до сих пор продолжают завешиваться. Крыша, приведенная теперь в более благоустроенное состояние, в то время беспрепятственно позволяла бурьяну и различным сорным травам расти в расщелинах своего ветхого и прогнившего до черноты теса. Входная «парадная» дверь, вделанная посреди главного фасада, теперь приходится в уровень с тротуаром, а тогда неопытный посетитель, прежде чем войти, непременно должен был клонуться в нее носом, особенно по вечерам, если предварительно он не замечал довольно глубокой ступеньки, спускавшейся гораздо ниже уровня тротуара. Теперь и самые полы и самые обои в «Ершах» давно переделаны и возобновлены в более современном вкусе, а тогда стены сохраняли патриархальную живопись – вроде

каких-то фантастических деревьев и райских птиц. В настоящее время только одна небольшая комната, выходящая единственным окном своим в маленький садик и смежная с «квартирой», сохраняет пока еще свой тогдашний первобытный вид; серые стены ее разрисованы серою же меловою краскою и являют собою различные картины мифологических сюжетов. В этой комнате искони помещается бикс. Вообще надо заметить, что время, прогрессируя «Ерши» во внешности, во многом способствовало безвозвратной утрате их первобытной оригинальности.

Бодлевский, клюнувшись предварительно носом в дверь, очутился в комнате, носящей наименование буфета. За стойкой стоял высокий, видный и весьма красивый мужчина, лет сорока, степенно благообразного и необыкновенно честного выражения в открытом лице. Высокая лысина его обрамлялась мягкими и курчавыми волосами. Широкая, аккуратно подстриженная, черная борода начинала уже заметно серебриться. Умные, слегка улыбающиеся глаза глядели спокойно, добродушно и в то же время весьма проникающе. Ярославский тип с первого взгляда давал себя знать в этом субъекте. Белая миткалевая рубаха, белый, как снег, передник и башмаки на босу ногу – эта трактирная чистота и харчевенное изящество среди обычной грязи посетителей и неопрятной обстановки, совокуплявшиеся с внушительной важностью физиономии ярославца, – ясно говорили всем и каждому, что он особа не простая, что он «буфетчик», «старшой», которому подчинены половые и который в своей особе соединяет всю администрацию заведения. Власть его простирается даже некоторым образом и на посетителей, или «гостей», если б они вздумали учинить что-нибудь неподобающее, вроде буйства и дебоша.

Встретя Бодлевского солидным поклоном – более глазами, чем головой, – он указал ему рукою направо, промолвя:

– Пожалуйста на чистую половину.

Но Бодлевский вместо чистой половины предпочел подойти к его стойке и осведомиться о Юзиче.

В ответ на это осведомление последовал недоумевающий, но втайне весьма осторожный и проникающий взгляд.

– Как вы изволите спрашивать? Юзича-с? – очень вежливо переспросил он, опершись пальцами на стойку и принимая корпусом наклонное положение вперед, что составляет известного рода ярославско-трактирную галантность и буфетческий бонтон. – Юзича?.. Нет-с, такого не знавали...

– Да ведь он у вас тут постоянно бывает! – возражал ему удивленный, по неопытности своей, Бодлевский, для которого каждое новое затруднение в его поисках было – острый нож, подрезавший радужную нить его надежды.

– Не знаем-с... Может, оно и точно, что бывает – мало ли тут гостей-то перебывает за день! где же нам всех их узнать-то, – посудите сами-с! – отбояривался между тем буфетчик.

– Да меня «секрет» прислал! – ляпнул вдруг без всякой осторожности и нескромным голосом Бодлевский.

Ответом на это опять-таки был взгляд весьма удивленного и подозрительного качества, – взгляд, который предварительно в миг, подобно молнии, обежал все углы комнаты, нет ли, мол, кого лишнего? – и тотчас же уклончиво и неопределенно установился между бровями Бодлевского.

– Как вы изволили сказать-с? – с улыбочкой спросил буфетчик.

– «Секрет» прислал, – повторил Бодлевский.

– Это что же-с такое значит?

Гравер, не ожидавший такого переспроса, смешался и отчасти даже струхнул немного.

– Уж будто вы не знаете? – возразил он несмелым тоном.

– Почем же нам знать-с... Помилуйте-с!.. Мы об эфтим никакого понимания не имеем... Где же нам загадки отгадывать?.. Мы, значит, при своем деле, у стойки стоим, а что касаемо до чего другого, так эфто не по нашей части.

Бодлевский, видя, что тут ничего не поделаешь, прикусил с досады губу и нервно заходил по комнате.

Буфетчик незаметно, но зорко следил за ним глазами.

– Вам, может статься, знакомый ваш этот в нашем заведении свидание назначил? – спросил он после минуты молчаливого наблюдения.

– Да, свидание, – машинально подтвердил гравер, которого уже начинала шибко пронимать сосущая тоска от видимой неудачи задуманного дела.

– Так вы пожалуйста-с на чистую половину-с, – предложил ему обязательный ярославец, указывая на правую дверь из темных разноцветных стекол, – пообождите там маненько-с; может, они тем часом подойдут, а может, уж там и дожидаются.

Бодлевский последовал совету буфетчика и прошел на «чистую половину», а этот последний тотчас же, вслед за ним, поспешно юркнул в низенькую дверцу, которая незаметно пряталась в стене, за стойкой, обок с полками буфета, заставленного неизмеримым количеством стаканов и расписных чайников.

Комната, в которую вступил Бодлевский, хотя и представляла собою «чистую половину» заведения, но отличалась весьма грязноватою внешностью. Это была довольно большая зала в пять окон с неизменными красными занавесочками. Доски закоптелых стен покоробились от времени и петербургской сырости. Когда-то они были выкрашены белой меловой краской, и по этому фону смелая фантазия маляра-художника пустила зелено-черные пальмы и папирусы, стоявшие, якобы аллеей, в ряд, как солдаты во фронте; на пальмах и между ними помещались розовые райские птицы, в которых палили из ружей и пускали стрелы из луков какие-то лиловые охотники. Но время набросило на все это свой серовато-бурый колорит. Покоробившийся дощатый потолок по самой середине комнаты представлял широкое, расплзающееся, черное, как сажа, пятно, которое образовалось от копоты из висящей на крючке лампы. Вдоль стен и у окон лепились маленькие четырехугольные столики, покрытые грубоватыми салфетками не весьма-то опрятного качества от каких-то пятен, и на каждой такой салфетке была опрокинута вверх дном полоскательная чашка с синеньким ободочком. Расщелистый пол, носивший еще кое-где скудные следы желтой краски, весь уснащался мокрыми, натоптанными следами посетителей, махорочной золой и плесками чаю, которые делали все те же бесцеремонные посетители, предпочитая для этого трактирный пол вместо полоскательных чашек. Атмосфера этого милого приюта, несмотря на вентиляторы в окнах, неисходно была пропитана крепким, першащим в горле, запахом махорки, Жукова и «цыгарок». В довершение всей обстановки, как необходимое украшение к ней, по стенам помещалось несколько старых портретов и картин, в когда-то позолоченных рамах. Портреты являли собою каких-то генералов в пудре и архиереев в мантиях, а картины изображали нечто из буколично-мифологических и священных сюжетов. И те и другие лоснились местами зеленым лаком, а местами совсем исчезали в густо насевшей на них пыли, грязи и копоты. Бог знает где, как и когда и кем писаны такие картины и портреты, но известно только то, что найти их можно единственно в «ресторациях», и кажется, будто они уж так самую судьбою предназначены для того, чтобы украшать закоптелые стены низшей руки трактиров и харчевен.

Бодлевский хотя и не был избалован жизненным комфортом, но ему еще ни разу не случалось присутствовать в столь милых местах, и потому его немного покоробило, особенно когда он, усевшись у крайнего грязного столика, оглядел присутствующих посетителей.

В одном углу, за двумя составленными вместе столами, помещалась компания мастеровых в пестрядинных халатах, с испитыми лицами, на которых установился определенный серобледный колорит – верный признак спертого воздуха душной мастерской, тесного спанья арте-

лю, непосильного труда и неводержной жизни. Эту коллекцию небритых и длинноволосых, по большей части украшенных усами физиономий с наглыми взглядами, как бы говорившими: «Мы – не мы, и хозяин – не хозяин!» – угощал пивом такой же пестрядинный халат, вмещавший в себе какого-то спицеобразного мальчонку лет шестнадцати. Мальчонка этот, видимо, желал показать, что взрослый и чувствует свое достоинство – потому: капитал имеет и угощать может. Он то и дело старался представиться пьяным и потому громче всех кричал, поминутно и без всякой нужды ругался, как бы самоуслаждаясь гармоническими звуками этой брани, поминутно размахивал своими истощенными, худыми, как щепки, руками, вообще ломался, «задавая форсу». Компания мастеровых поощряла его то обниманиями, то словами, то, наконец, приятельской руготней и во всю глотку нестройно горланила солдатскую песню:

...и граф Башкевич Ирианский  
под Аршавой состоял –

песню, бывшую в то время, ради близкой своей современности, в особенной моде между солдатами и фабричным народом.

Другой угол, на нескольких отдельных столах, занимали извозчики, которые днем очень любят посещать «Ерши» и там чаепийствовать. Двор ершовский, где помещается несколько пойловых колод, в течение дня, то есть пока не начнет смеркаться, постоянно занят извозчиками клячами и загроможден то дрожками, то санями – смотря по времени года. Клячам этим извозчики задают корму и пойла, а себя – «помалости чайком побалывают». В этом втором углу господствовали трезвость, «кипяточек» и до багровости распарившиеся чайком физиономии.

Тут уже был слышен свой особый говор.

За одним столом сообщали, что Игнатку в часть взяли, а Парфену-дяде офицер, в экипаже ехавши, колесо отшиб, а намеренсь у одного извозчика лошадь с дрожками мазурики угнали, – только что отвернулся, а они и угнали, проклятые; хозяин теперь вычитать подика станет, а дома-то, в деревне, может, и голодно и холодно. И начинается по этому поводу разговор про распроклятую жисть извозничью, питерскую. За другим же столом идет беседа такого рода:

– Ты хозяину как отдаешь? подика-ся, всю выручку? – спрашивает плутоватая харя извозчика из тертых калачей у извозчика еще не тертого, двенадцатилетнего мальчишки.

– Известно, всю! а то как же? – отзывается детским голосенком этот последний, с тяжелым переводом духа, неистово втягивая в себя с блюда струю горячего чая.

– Эх ты, михря!.. «всю!» – презрительно подхватывает первый. – Пошто же всю отдавать? Ты бы себе какую часть оставлял!

– Ишь ты – себе!.. а грех? – возражает мальчишка.

– Ну так что ж, что грех? – не беда!

– Эвось – не беда!.. как же!

– А то беда? эка ты репа какая, паря, как я погляжу! В грехе на духу покаешься – и баста! На то и батька, значит, приставлен; а ты бы, по крайности, себе какую деньгу оставил...

– А хозяин ругаться станет?

– Так пошто ж тебе говорить ему, сколько выручки привез? Если ты, значит, целковый рубль выездил, так отдавай семь гривен, а либо восемь гривен, коли уж почестнее захочешь. Вот так и вертись на этом.

– Да я не умею...

– Не умеешь? а наука на что? Ставь пару чаю – так разом научу!

И мальчишка точно ставит пару чаю и начинает первые шаги своего развития на поприще столь занимательной науки.



Остальную публику составляли два-три дворника, несколько солдат, которые проникали сюда задними ходами, так как с наружных пускать их было строго запрещено, да две-три темные личности, из коих одна, в порванном, истертом вицмундире, углублялась в чтение полицейской газеты.

Нравственное чувство Бодлевского, не искусившегося еще в сладости познания различных трущоб житейских, начинало уже давить и сосать что-то боязливо-неприятное. Ему все казалось, будто кругом его сидят воры и мошенники, может, и убийцы даже; а воображение помогало разрисовывать все это более мрачными красками, хотя обстановка этой комнаты была не более как обстановка каждой харчевни. Сознание, что и сам он идет на рискованное дело, и эта неизвестность, где и с кем он, и как все это кончится; потом неотступное, томительное чувство одиночества, чувство разобщенности с окружающим миром – все это производило на него особого рода нервное впечатление, так что ему казалось – вот-вот войдет полиция и заберет их всех тотчас или что все эти господа разом накинутся на него, ограбят и убьют, пожалуй... Подобное чувство при первом посещении незнакомого еще вертепа необходимо испытывает каждый неофит, каждый будущий кандидат на Владимирку, только что задумавший свой первый шаг к преступлению.

А из низенькой дверцы в буфете выходил между тем застоечный ярославец в сопровождении темной личности с физиономией отчасти перетревожившейся.

– Ну, полно спать! аль не прочухался еще? ползи, что ль, черт! – говорил он, оборачиваясь в полспины к этому темному субъекту, который подвигался вперед весьма неохотно.

– Да кто спрашивал-то? – слышался его хриплый, заспанный голос.

– А мне почем знать – тебя спрашивал!.. Возьми зеньки в граблужи, да и зеть вон сквозь звенья! Может, и фигарис какой!<sup>18</sup> – отвечал ярославец, становясь за стойку и принимая такой вид, как будто ничто до его милости не касается.

Темная личность подошла к правой двери, плотно приблизила лицо свое к темным цветным стеклам и осторожно стала смотреть сквозь них в «чистую половину».

– Который это? что в шельме<sup>19</sup> камлотной сидит, что ли? – спросил он, разглядывая посетителей.

– Тот самый... Гляди, не фигарис ли каплюжный<sup>20</sup>, – предостерег его буфетчик.

– Нет, своя гамля<sup>21</sup>, – успокоил смотревший субъект и смело направился в «чистую половину».

Свидание друзей, как и должно предполагать, было весьма радостно, особенно со стороны Бодлевского. За порцией селянки, сопровождавшейся целым графином померанцевой, он объяснил Юзичу свою настоящую нужду.

И ни тот ни другой не заметили, как сидевший поодаль неизвестного звания человек все время незаметно наблюдал за ними, стараясь вслушаться в каждое их слово.

Юзич, по выслушании дела, сейчас же скорчил из себя солидно-важного человека, в котором нуждаются и от воли которого зависит надлежащее решение, и стал озабоченно потирать свой лоб, как бы обдумывая затруднительное дело. Мазурики вообще любят в таких случаях напускать на себя важность и детски рисоваться (хотя бы перед самим собою) своим выдуман-ным значением. Люди всегда склонны обманывать и себя и других тем, чего у них не хватает.

– Это я могу, – наконец заговорил он с расстановкой, стараясь придать каждому своему слову и вес и значение. – Н-да-с... это в нашей власти... Только с одним человечком повидаться надобно... Трудно, но могу – зато уж магарыч с тебя, да и другим заплатить придется.

---

<sup>18</sup> Возьми глаза в руки и смотри сквозь стекла! Может, сыщик какой! (жарг.)

<sup>19</sup> Шинель (жарг.).

<sup>20</sup> Полицейский (жарг.).

<sup>21</sup> Собака (жарг.).

Бодлевский беспрекословно согласился на все условия, и тогда Юзич встал и подошел дошептаться к той темной личности в вицмундире, которая водила красным носом своим по строкам полицейской газеты.

– Другу Борисычу! – проговорил Юзич, подавая ему свою руку. – Клей<sup>22</sup> есть!

– Ой ли, клевый<sup>23</sup> аль яманый<sup>24</sup>? – отозвался друг Борисыч, изобразив на широких губах своих улыбку алчной акулы.

– Небось, чертова перечница! Коли я говорю, так значит клевый!

– А как пойдет: в слам<sup>25</sup> аль в розницу?<sup>26</sup> \*

– Известно, в слам! Тебе, коли сам работать станешь, двойную растырбаним<sup>27</sup>. Вот видишь, мухорта<sup>28</sup>, что со мной сидел? – пояснял ему Юзич. – Так вот ему темный глаз<sup>29</sup> нужен.

– На кого? на себя? – спросил Борисыч.

– Нет, маруший<sup>30</sup> нужно...

И они ушли в другую комнату – продолжать свое секретное совещание. Через несколько минут Юзич возвратился к Бодлевскому и объявил, что вечером будет все готово, чтобы он к девяти часам являлся в «Ерши», а пока вручил бы ему задаток – «на извозчика, мол, надо съездить в Полторацкий переулок, в Сухаревский дом, к виленцам<sup>31</sup> из тридцать первого нумера, потому: тот, кто станет подделывать паспорт, весь свой струмент и материал проиграл в трынку одному человеку из виленцев – ну, так и того, значит, надо будет выписать, чтобы с материалом явился».

Замечательно, что мазурики не только с посторонними, но даже и между собою в разговоре о каком-либо отсутствующем товарище постоянно избегают назвать его по имени, а всегда говорят несколько неопределенно, стараясь выражаться более местоимениями: тот, этот, наш, или существительными, вроде: знакомый человек, нужный человек и т.п.

Бодлевский щедро дал задаток и, выйдя за дверь, напутствуемый приветливым (уже без недоверчивости) поклоном буфетчика, опрометью бросился домой, не будучи в силах сдержать свою радостную улыбку, так что узнавший его сонливый будочник только крикнул да ухмыльнулся и послал ему в спину такой смешливо-лукавый взгляд, который как бы говорил: «Погоди-ка, друг любезный, сорвал я с тебя нынче уху с ершами, а попадешься ко мне на лапу, так стяну и леща со щукой».

---

<sup>22</sup> Выгодное воровское предприятие (жарг.).

<sup>23</sup> Хороший (жарг.).

<sup>24</sup> Негодный (жарг.).

<sup>25</sup> Воровская доля (жарг.).

<sup>26</sup> Вся выручка одному (жарг.).

<sup>27</sup> Распределять выручку (жарг.).

<sup>28</sup> Любой человек, не вор (жарг.).

<sup>29</sup> Фальшивый паспорт (жарг.).

<sup>30</sup> Женский (жарг.).

<sup>31</sup> Особая воровская профессия (жарг.).

## X

### КВАРТИРА ДЛЯ ТРЫНКИ И ТЕМНЫХ ГЛАЗ

Вечером «Ерши» изменяются, принимая совсем новый характер. Это уже не то, что «Ерши» днем. Как только зажгутся в них коптильные лампы и бросят свои мутные лучи на всю ершовскую обстановку, так тотчас ловкая рука побегушника пологового быстро позадергивает красные занавесочки на окнах – и это задергивание служит уже верным признаком того, что «Ерши» открыли свою вечернюю деятельность. Главным и, так сказать, всепритягивающим центром этой деятельности становится степенный, благообразный буфетчик Пров Викулыч, и тут-то разностороннее и разнохарактерное умение его поистине становится замечательным.

Как только начнет смеркаться – Толкучка прекращает свою деятельность. По Чернышеву переулку, как стаи черных мух, торопятся и перегоняют друг друга, в направлении к Пяти Углам, толкучники-сидельцы. Между ними шныряют взад и вперед темные людишки, покончившие свой дневной промысел на Толкучке и не начавшие еще промысла ночного. Кто из них засветло не успел сбыть с рук благоприобретенного товара ни маклакам, ни купцам-поощрителям, тот поблизости несет его в «Ерши», через задний ход, где всегда уже для такого желанного гостя находится настороже Пров Викулыч.

Пров Викулыч – человек добрый, рассудительный и не привередник: он ничем не побрезгует и за все даст положенную цену. Неси к нему мягкий товар, то есть меха, – он возьмет с благодарностью, неси красный товар, то есть золотые или иные драгоценные вещи, – тоже возьмет с благодарностью же: табакерку добудешь – и ее туда же; платок карманный добудешь – и на платок отказу нет; словом сказать, Пров Викулыч – человек вполне покладистый и сговорчивый, милый человек, с которым приятно и полезно вести всякое дело. Его и маклаки, известные у мазуриков под именем мешков, весьма уважают, а это очень замечательный факт, ибо маклаки вообще никого не уважают. Пров же Викулыч заслужил себе от них такую глубокую дань уважения не чем иным, как допущением свободного сбыта. Иные буфетчики и половые, занимающиеся маклачеством, ни за что не пустят «мешка» за порог своего заведения, а Пров Викулыч впускает беспрепятственно. Как же после этого не уважать Прова Викулыча?

Впрочем, ему самому от этого допущения мешков было мало убытку: мазурики все-таки предпочитали к нему нести свой товар для сбыта.

Итак, только что смеркнется и «Ерши» осветятся своими коптилками – к ним начинают стекаться мешки и мазурики. Входная дверь на блоке ни на минуту не перестает визжать, хлопать и напускать в комнату свежего воздуха, который там вообще никогда не бывает лишним. Вместе с мазуриками набивается сюда изрядное количество мастеровых и фабричных, также покончивших свои дневные занятия; увеличивается и элемент военный, которому в вечернем мраке менее представляется опасности от начальства; немного попозже начинают мелькать и женские физиономии; зато замечается полнейшее отсутствие извозчиков.

В эту деятельную минуту Пров Викулыч становится вездесущ. Он и за стойкой вежливо кланяется глазами разным посетителям; он и на кухне отдает приказания насчет провизии повару; он и в погреб спустится за новою, непочатою корзиной холодного пива; он и на чистую половину заглянет: все ли де там в порядке; и на половых за нерасторопность прикрикнет, и с гостем красным словцом перекинется; он, наконец, улучит минуту и, юркнув в свою дверцу, очутится на «квартире».

Но пора, наконец, читателю узнать, что это за квартира.

Низенькая, маленькая дверца, в которую так часто юркает Пров Викулыч, ведет из буфета в кухню, где прежде всего бросается в нос чад от масла и пар столбам; а потом уже сквозь эту атмосферу выступают силуэты огромных медных котлов с кипятком и огромной же, словно бы навуходоносоровой печи, которая, пожалуй, и побольше, чем трех отроков, поглотит. Из

кухни налево взору посетителя представляется дверь в однооконную комнату, куда имеют право входа только одни «завсегдатаи» да особы прекрасного пола, дарящие ее почему-то особенною своею симпатией, преимущественно перед прочими чертогами заведения. Поэтому ершовские *habitués*<sup>32</sup> эту комнату так уж и прозвали «марушым углом». Здесь, в этом «марушьем угле», можно постоянно найти женщин в количестве нескольких персон, занимающихся мирным чаепитием или не менее мирною руганью и тараторливым перезвоном. Из этой комнаты маленькая низенькая дверца ведет в другую, которая-то собственно и носит наименование «квартиры».

Это даже не комната, а скорее какой-то темный чулан, без окон, но с парюю дверок, содержащихся постоянно на запоре. Вторая дверь выходит в узенький сквозной коридор, из которого вы, по желанию своему, можете спуститься либо во двор, либо в крохотный садик. С внутренней стороны дверь эта представляется как бы заколоченной, но это нисколько не мешает ей, в случае нужды, очень скоро и ловко отпираться и выпускать из себя, во время полицейских осмотров, разных теплых людишек, которым из коридорчика – скатертью дорога либо во двор, либо в садик, да через забор на соседний задворок. С наружной же стороны этой дверки, на верхнем бруске ее, и до сих пор еще можно видеть намалеванную черною краскою надпись: квартира.

В этой конуре темно – хоть глаз выколи; иначе как со свечой там никто не бывает. В ней помещаются две-три постели, стол да несколько стульев. Под постелями и в углах сваливается все натыренное<sup>33</sup>, которое, стараниями Прова Викулыча, редко когда залеживается до следующего утра. Приобретает он тыренное то на смарку трактирного долга, то на хрястанье с канновкой<sup>34</sup>, то на какие-нибудь ничтожные гроши, которые иногда нужнее самой жизни уличному вору, когда голодным детям нужно принести хоть корку хлеба. Сбывает Пров Викулыч это тыренное только на чистые деньги, и на деньги немалые. Отсчитывает он в этом случае гроник да канику, а получает колесами<sup>35</sup>.

Итак, мы уже говорили, около восьми часов вечера темные людишки с «вольным товаром» под полою начинают мало-помалу проюркивать в ершовские ворота, на задний, «невоскресный» ход заведения, и стекаются обыкновенно в смежной с кухней комнате.

Пров Викулыч держит себя в этом случае весьма замечательным образом: он и тут, как всегда и везде, свою особую политику и строгий этикет соблюдает. Всем, например, собравшимся в «марушьем углу» мазурикам очень хорошо известно, что Пров Викулыч занимается спуркой<sup>36</sup>, все они именно и собрались сюда не за чем иным, как только пропустить<sup>37</sup> ему тыренное Пров Викулыч, в свою очередь, хорошо знает, что теплые ребята пришли сюда единственно ради его милости, и не однажды уж он со всеми ними дела этого рода обделывал, а между тем Пров Викулыч перед глазами всей этой обычно собравшейся компании никогда не решится явно показать, что он занимается «спуркой» или вообще имеет с ними какие-либо общие дела и интересы относительно вольного товара. «Потому, значит, дело – делом, а честь – честью, – рассуждает себе Пров Викулыч, – и честь свою, значит, ты никак обронить не моги».

Пров Викулыч в некотором роде сила, «капиталом ворочает», держит в руках своих весь этот темный люд, и потому третирует его несколько *en canaille*. Он не сразу выходит к ним в «маруший угол», а так себе – урывками, заглянет туда как будто мимоходом, идя по своему делу, и вообще заставляет себя дожидаться.

<sup>32</sup> Завсегдатаи, постоянные посетители (фр.).

<sup>33</sup> Наворованное (жарг.).

<sup>34</sup> Есть с водкой (жарг.).

<sup>35</sup> Гроник – грош; каника – копейка; колесо – рубль (жарг.).

<sup>36</sup> Скупка и перепродажа краденых вещей (жарг.).

<sup>37</sup> Сбыть ворованное (жарг.).

– Пров Викулыч, дельце есть до вашей милости! – говорит ему обыкновенно какой-нибудь мазурик заискивающим и даже просительным тоном, кланяясь чуть не в пояс.

– Како тако дельце? – суровым голосом важно-занятого человека возражает буфетчик, почти не удостоивая взглядом своего просителя.

– Так-с... просьбица, одна... по секрету-с...

– Ну, да! еще чего не выдумай! Некогда мне тут с вами секретничать-то! – бурчит он себе под нос, с большим неудовольствием. – Ну, да ин – ладно! Пойдем! Эй! Анчутка!

– Чиво-с? – откликается юркий трактирный мальчишка с развращенным лицом и плутовскими глазами, выросший словно гриб из-под земли перед Провом Викулычем.

Буфетчик на это «чиво-с» только глазом мигнет незаметно – и Анчутка опрометью бросается к заднему ходу на сторожку.

За сим следует удаление Прова Викулыча с просителем в секретную квартиру.

А мазурики между тем в «марушечьем углу», ожидая каждый очередь, вполголоса меж собой о своих делах разговаривают. Они в этом отношении менее Прова Викулыча церемонятся.

– Что стырил? – осведомляется один у другого.

– Да что, друг любезный, до нынче все был яман<sup>38</sup>, хоть бросай совсем дело; а сегодня, благодарение господу богу, клево<sup>39</sup> пошло! Зашел этта ко Владимирской. Народу за всенощной тьма-тьмушая – просто, брат, лафа!

– Ну и что же ты? маху не дал?

– Еще б те маху! Шмеля срубил, да выначил скуржанную лоханку!<sup>40</sup> – самодовольно похваляется мазурик.

– Мешок во что кладет веснухи?<sup>41</sup> – спрашивается в то же время в другой группе, на противоположном конце комнаты.

– Во что кладут! да гляди, чуть не в гроник! – ропщет темная личность с крайне истомленным и печальным лицом. – Клей<sup>42</sup> не дешевого стоит; поди-ка, сунься в магазин у немца купить – колес в пятьдесят станет.

– А какой клей-то?

– Да канарейка с путиной<sup>43</sup>, как есть целиком веснушные. Так он что, пес эдакий, мешок-то? Я по чести, как есть, три рыжика правлю<sup>44</sup>.

– Какими? рыжею Сарою?<sup>45</sup>

– Ну, вестимо, что Сарой, а он, пес, только четыре царя<sup>46</sup> кладет. А мне ведь тоже хрястать что-нибудь надо! жена тоже ведь, дети... голодно, холодно...

И голос мазурика, нервно дрогнув, обрывается, задавленный горькою внутреннею слезою.

В третьем углу – молодой вор, по-видимому из апраксинских сидельцев, тоненькой фистулой, молодежески повествует о своих ночных похождениях:

– Просто, братцы, страсть! Вечор было совсем-таки влопался!<sup>47</sup> да, спасибо, мазурик со стороны каплюжника дождевиком<sup>48</sup> – тем только и отвертелся! А Гришутка – совсем обло-

---

<sup>38</sup> Плохо (жарг.).

<sup>39</sup> Хорошо (жарг.).

<sup>40</sup> Вынул кошелек да вытащил серебряную табакерку (жарг.).

<sup>41</sup> Барышник во что ценит золотые часы? (жарг.).

<sup>42</sup> Термин для обозначения всякой воровской вещи (жарг.).

<sup>43</sup> Часы с цепочкой (жарг.).

<sup>44</sup> Рыжик – червонец; править – просить (жарг.).

<sup>45</sup> Полуимпериял (жарг.).

<sup>46</sup> Серебряный рубль (жарг.).

<sup>47</sup> Попался в воровстве (жарг.).

пался<sup>49</sup>, поминай как звали! Стал было хрять<sup>50</sup> в другую сторону, да лих, вишь ты, не стремил<sup>51</sup>, опосля как с фараоном<sup>52</sup> справились; а тут стрела<sup>53</sup> подоспела вдогонку – ну и конец! Теперь потеет<sup>54</sup>; гляди, к дяде на поруки попадет<sup>55</sup>, коли хоровод не выручит.

– Значит, скуп<sup>56</sup> надо? – озабоченно спрашивают мазурики, ибо это вопрос, весьма близко касающийся их сердца и карманных интересов.

– Значит, скуп! Парень, братцы, клевый, нужный парень! Отначиться<sup>57</sup> беспрерменно надо.

– Сколько сламу потребуется? – вопрошают члены хоровода, почесывая у себя в затылке.

– Обыкновенно на гурт: слам на крючка, слам на выручку да на ключая – троим, значит, как есть полный слам отваливай<sup>58</sup>.

– Надо подумать! – отвечают хороводные, соображая свои средства на выкуп товарища.

А степенный, важный и благообразный Пров Викулыч меж тем обделывает на квартире свою выгодную спурку.

\* \* \*

В одиннадцатом часу показался в «Ершах» и Бодлевский, захватив с собою весь свой капитал, заключающийся в двадцатипятирублевой бумажке и кой-какой мелочи. Сердце его довольно-таки нервно постукивало. Он не боялся делать ассигнацию наедине, запершись в своей комнате, и боялся теперь предстоящего ему дела, потому что оно должно было обделаться между несколькими сообщниками. Эта черта, на первый взгляд как будто и трусливая, предвещала, однако, в Бодлевском великого будущего мастера. Не бояться сообщничества одни только заурядные мазурики, из которых никогда ничего замечательного не выработается. А в Бодлевском, напротив, таился своего рода гений...

Пров Викулыч, обретавшийся на сей раз за буфетной стойкой, степенно поклонился ему, по обычаю своему, больше глазами, чем головой, и пригласительно указал рукою на узорную дверь чистой половины, а сам, конечно, не замедлил сию же минуту юркнуть в свою дверцу, на квартиру за Юзичем.

После коротких переговоров о том, что дело будет стоить двадцать рублей, Юзич получил вперед с Бодлевского деньги и ввел его в заповедную квартиру через наружную ее дверку, мимо буфетчика, который сделал вид, будто ничего не замечает. Там на столе тускло горел сальный огарок, едва освещая фигуры семи человек, сгруппировавшихся вокруг стола, за которым восседал красноносый чиновник – тот самый, что поутру на чистой половине углублялся в полицейскую газету. Он тасовал замасленную колоду карт и умоляющим голосом обращался к рыжему угрюмому господину с портфелем в руках:

---

<sup>48</sup> Камень (жарг.).

<sup>49</sup> Взят полицией и отвезен в участок, тюрьму (жарг.).

<sup>50</sup> Бежать (жарг.).

<sup>51</sup> Стремить – смотреть, остерегаться (жарг.).

<sup>52</sup> Будочник (жарг.).

<sup>53</sup> Патрульный казак (жарг.).

<sup>54</sup> Сидит в части (жарг.).

<sup>55</sup> Попасть в тюрьму (жарг.).

<sup>56</sup> Общая складчина на выкуп попавшегося (жарг.).

<sup>57</sup> Откупиться (жарг.).

<sup>58</sup> Слам – взятка; крючок – полицейский письмоводитель; выручка – квартальный надзиратель; ключ, ключай – следственный пристав (жарг.).

– Ну, сделай ты мне такое божеское одолжение! Сорок грехов тебе за это простится, мошенник ты эдакий! – говорил он ему. – Ну, что тебе стоит! Душечка моя! свалеемся на одну игорку.

– Сказано, нет! – зарычал на него рыжий, сверкая исподлобья своими угрюмыми глазами. – Нашел дурака – свалеейся с ним до дела, а он, пожалуй, отначится, – так я, значит, двойного сламу должен лишиться! Ишь ты вицмундирник какой! губа-то у тебя не дура! Ты прежде дело сделай, а там, пожалуй, стукнемся на счастье.

– Все струмент свой отыграть хочет, – пояснил Юзичу один из семерых, лукаво подмигивая на красноногого чиновника, который, вероятно, чувствуя себя очень огорченным ответом рыжего, только вздохнул от глубины души и смиренно, с видом угнетенной невинности, воздел к потолку глаза свои, как бы говоря этим: «Ты видишь, господи, сколько много и неправо обижен я!»

Никто из присутствующих не поклонился Бодлевскому при входе и вообще не выразил ни словом, ни знаком каким-либо приветствия; но все очень внимательно и бесцеремонно вымеряли его своими взглядами.

Эти семь человек были виленские и витебские мещане, известные в трущобах под общим именем «виленцев» и занимавшиеся специально подделкой паспортов. Профессия эта преемственна и до сих пор продолжается в Петербурге между выходцами из двух означенных губерний.

– Готово! – сказал Юзич, обращаясь безлично ко всей компании.

– Значит, можно в ход помадку<sup>59</sup> пускать? – спросил чиновник с добродушной улыбкой, в которой, однако, так и просачивалась алчность акулы.

– А ты, голова, зачем мухорта с ветру привел? – бесцеремонно вмешался рыжий, бросая неприязненные взгляды на Бодлевского. – Зачем морды казать? Не всякой ведь роже калитки есть!

– Ничего, мухорт с нами заодно поест, – благодушным тоном успокаивал его чиновник.

– А коли облопается да клюю прозвонит?<sup>60</sup>

– А мы на сей конец не дураки: прикосновенность учиним, к делопроизводству притянем – и выйдет девица того же хоровода. На себя не всяк ведь показывать-то охоч, – возразил на это канцелярски-крючковатым тоном чиновник.

Рыжий, вероятно, восчувствовал силу последнего аргумента, ничего не ответил, только сплюнул в сторону.

Чиновник, потирая свои красные, дрожащие руки, встал с места и с особенным каким-то сладеньким подходцем приблизился к Бодлевскому.

– Нам надо познакомиться, – сказал он весьма любезно. – Вместе уху станем стряпать – вместе хлебать; значит, дело товарищеское. Честь имею рекомендоваться! – присовокупил он, отдавая скромный поклон, – отставной губернский секретарь Пахом Борисов Пряхин. Ныне приватно в конторе квартального надзирателя письмоводством занимаюсь.

Бодлевский при этом последнем сообщении сделал весьма удивленную мину, так что Пахом Борисыч поспешил пояснить ему с обычным добродушным вздохом:

– Что делать-с! бывают обстоятельства, когда всяк человек на предлежащем ему месте к пользе ближнего нужен бывает. А это-с, – прибавил он, указывая на членов своей компании, – это – ближние мои. Так-то-с!..

Бодлевский слегка поклонился, но ближние не удостоили его поклон ни малейшим вниманием. Они вообще были не совсем-то довольны присутствием при деле постороннего человека.

---

<sup>59</sup> Метод действия и приемов при совершении воровства (жарг.).

<sup>60</sup> А если попадетсЯ и на следствии приставу расскажет? (жарг.).

– Предварительно, – начал опять чиновник, – позвольте попросить у вас рюмку водки, а то у меня трясушка с перепоею: рука нетверда-с. Я, поверьте, не столько для себя, сколько собственно для руки прошу. Позвольте монетку-с!

Бодлевский дал ему сколько-то мелочи, которую чиновник тотчас же опустил в свой карман и, подойдя к полочке, где стоял заранее купленный им же самим полштоф водки, налил себе рюмку и, нацелясь, проглотил ее залпом.

– А теперь – приступим благословясь, ибо всякое доброе начинание напутственного благословения требует, – говорил он со своею улыбкою, творя крестное знамение, и, потирая руки, сел на прежнее место.

Угрюмый рыжий молча положил перед ним портфель и вынул из кармана какие-то две склянки. В одной заключалась жидкость черная, в другой – чистая, как вода.

– Мы ведь – химики: наукой тоже занимаемся! – шутливо пояснил Бодлевскому Пахом Борисыч и вслед за тем скомандовал: – Чижик! на стрему.

Молодой парень поднялся с постели, на которой было развалился, и вышел из «квартиры» в наружную дверь.

– Ну-с, а теперь затыньте-ка<sup>61</sup>, братцы, хорошенько! – предложил чиновник остальным – и вся компания тесно стала, локоть к локтю, вокруг стола. – А мы газетку вынем да на столик положим – тут же вот рядышком с портфелькой. Это, извольте ли видеть, – пояснил он Бодлевскому, – собственно, на тот конец делается, если бы, избави нас боже, посторонний человек в нашу келейную беседу ворвался – так мы как будто ничего, яко агнцы какие непорочные, сидим и мирно известия с политического горизонта читаем. Понимаете-с?

– Как не понять!

– Известно-с... А теперь не угодно ли?... Извольте нам со всей откровенностью, яко пред зеркалом, объяснить: к какому званию и состоянию желаете вы приписать известную вам особу – по купечеству ли, или в дворянское сословие?

– Я думаю, в дворянское лучше будет, – заметил Бодлевский.

– Всеконечно так! по крайней мере, приобретается право беспрепятственного проезда во все города и селения Российской империи. Посмотрим, нет ли у нас чего подходящего.

И Пахом Борисыч, раскрыв портфель, наполненный всевозможными паспортами, плакатами, увольнительными свидетельствами и иными видами, стал перебирать эти бумаги, не вынимая, впрочем, ни одной из портфеля: все на тот конец – если какая тревога случится, так чтоб немешкотно спрятать их.

– Ага! новенький! – воскликнул он, разглядывая какой-то вид. – Откуда это?

– От одного человека приезжего добыл, – пробурчал себе под нос рыжий.

– Те-те-те! совсем подходящее дельце! Дворяночка-с! – с удовольствием говорил чиновник, продолжая рассматривать вид. – Очевидно, ныне сам господь бог помогает – вот оно что значит благословенье-то! А Вольтеры – поди ж ты вон! – другое толкуют! (Пахом Борисыч, видимо, старался блеснуть своим образованием.) Н-да-с... «Дано сие из ярославского губернского правления», – продолжал он, уже читая текст вынутого им вида, – «дано сие вдове коллежского асессора Марии Солонцовой на свободное прожитительство» и так далее, как следует быть, по надлежащей форме. Здесь, что ли, добыто? – обратился он снова к рыжему.

– В Москве, сказывал...

– Нешто стырен?

– Амба! – лаконически и еще угрюмее обыкновенного выговорил рыжий.

– Амба! – повторил серьезным тоном чиновник, как бы преисполняясь особенным уважением к той бумаге, которую он держал в руках. – Амба!.. так вот как! В домухе опатрулено<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Скройте, заслоните (жарг.).

<sup>62</sup> Амба – убить, удар насмерть; домуха – дом; опатрулить – отобрать в квартире (жарг.).



– Клевей, брат! почти что на гопе<sup>63</sup>; у Рогожского, сказывал.

– Ну, это точно что клевей; потому, значит, только и последствий, что в ведомостях пропечатает: такого-то мол, числа усмотрено неизвестного звания и состояния...

– А ты ешь пирог с грибами! – сурово перебил его рыжий. – Видно, с одной рюмки-то мелево распатало?

– Что ж! Я – ничего! – кочевряжился в ответ на это замечание Пахом Борисыч. – Я только говорю, что отпусти господи рабу твоему, потому что, в силу 332-й и 727-й статей Свода уголовных узаконений, за это надо сгореть.

Едва успел он выговорить эти слова, как удар с размаху по голове, который молча нанес ему рыжий, заставил его стукнуться затылком в стену и, уж конечно, замолчать на минуту – так что он только глазами заморгал от боли.

– Это что же? оскорбление чести, можно сказать... – забормотал оторопелый Пахом Борисыч. – Теперь я и работать не могу: в голове треск и темень... Ей-богу, не могу... Надо, по крайности, рюмку для прояснения...

– Ну, черт, ступай, пей! – разрешил ему рыжий. – Да гляди: если еще раз мелевопустишь – не заставь руку расходиться! – ломату<sup>64</sup> задам добрую.

Оскорбленный Пахом Борисыч молча пропустил в себя рюмку, молча воротился на место и молча же принялся за работу.

Он откупорил склянку с бесцветною, чистою жидкостью и вынул из портфеля тщательно завернутую в бумажку рисовальную кисточку.

– Ну, полно, дядинька! развеселись-ко! Стоит из-за пустяков таких? – утешал его Юзич, ободрительно похлопывая по плечу, и Пахом Борисыч действительно развеселился.

– Известно, не стоит! – заговорил он своим обычным тоном, в котором, однако, заметно слышалось чувство собственного достоинства. – Я и внимания не хочу обращать, потому честь и амбицию свою несравненно выше того полагаю. Меня это обидеть не может. Военные за это между собою на поединки выходят, гражданские чины по закону деньгами бесчестие взыскивают, а с него – что взять? Одно остается – простить ему это.

Это означало, что Пахом Борисыч в глубине сердца своего был очень оскорблен.

– Ну, вот ты и прости! – предложил ему Юзич.

– Я и простил!.. – махнувши рукой, произнес Пряхин. – Так вам угодно ли будет известную особу переименовать в Марию Солонцову – вдову коллежского асессора? – обратился он к Бодлевскому.

---

<sup>63</sup> В поле или в лесу (жарг.).

<sup>64</sup> Побои (жарг.).

## XI КАПИТАН ЗОЛОТОЙ РОТЫ

Бодлевский не успел еще в ответ на это утвердительно кивнуть головою, как вдруг наружная дверка быстро распахнулась и в комнату стремительно влетел высокого роста мужчина, статный, сильный и красивый блондин, немного косоватый, с золотыми очками и в форменном военном сюртуке.

Компания испуганно повернула к нему головы, но не тронулась с места: как стояла она, тесно сплотившись вокруг стола, так и теперь осталась.

– Здорово, соколики, виленцы почтенные! Вы это что тут? какими делами занимаетесь? – заговорил он, в одно мгновение подлетая к столу и садясь на стул вскочившего Пахома Борисыча.

– Это что такое? – продолжал он, захватывая одною рукою склянку с бесцветной жидкостью, а другою вид вдовы коллежского асессора. – Это у вас, значит, хлористая жидкость для вытравливания чернил? Хорошо-с! А это чей-то вид – значит, мы тут пачпорттики подделываем? Важно! Отменно важно! Ай да молодцы! Что дело, то – дело! Гей! Свидетели!

И блондин довольно резко свистнул. Из наружной дверки появились две лихие физиономии, торчавшие на плечах весьма внушительного свойства.

Рыжий молча подошел к блондину и яростно схватил его за ворот. Остальные в тот же момент поразобрали – кто стул, кто пилку, кто железный лом – и приготовились к защите.

Блондин между тем, отнюдь не изменяя в лице самоуверенно-хладнокровного и спокойного выражения, быстро опустил руки в карманы и вынул пару маленьких двухствольных пистолетов. В наступившей тишине, которою сопровождалась эта сцена, ясно было слышно, как щелкнули на двух взводах курки под его пальцами. Он поднял правую руку и направил дуло в упор к груди своего противника.

Рыжий опустил его ворот и, презрительно скося на него свои глаза, сверкавшие ненавистью и злостью, молча отошел в сторону.

– Сколько надо будет дать? – глухо спросил он.

– Ага!.. Вот этак-то лучше! и давно бы так следовало! – заговорил блондин, спокойно усевшись на стуле и слегка поигрывая своими пистолетами. – А вы за сколько работаете?

– За одну красную, – ответил рыжий.

– Мало. Мне гораздо больше надо; да, впрочем, вы, милый мой, врете; я ведь знаю вас: вы менее как за беленькую и рук марасть не станете.

– Благодарим за комплимент.

Блондин с усмешкой кивнул ему головою.

– Мне надо гораздо больше, – настойчиво и с внушительной расстановкой повторил он, – и если вы мне не дадите по крайней мере двадцати пяти, так я сию же минуту донесу на вас полиции, а вот и двое свидетелей кстати.

– Сергей Антоныч! господин Ковров! помилосердствуйте! – откуда же взять нам столько! Как перед богом, так и перед вами говорю! ведь нас десять человек. Да вас трое; да кроме того троим – мне, Юзичу и Гречке – двойной слам следует, – убеждал его умоляющим голосом Пахом Борисыч.

– Гречке за то, что осмелился меня за ворот схватить – вовсе сламу не полагается; вперед наука! – порешил Сергей Антоныч.

– Господин Ковров! – начал снова чиновник, – мы с вами люди благородные...

– Что-о? что ты такое сказал? – презрительно перебил его Ковров. – Себя на одну доску со мною поставил! Ха-ха-ха! Нет, брат, я пока еще на царской службе состою и с мундиром

честь свою ношу! Я, брат, себя пороком или воровством каким не марал еще, слава богу! а ты что такое?

– Гм!.. а Золотая-то рота? кто капитаном-то считается?.. – злобно и как бы про себя заметил Гречка.

– Кто считается? Я – поручик Черноморского драгунского полка Сергей Антонович Ковров! Слышали? Я считаюсь! – гордо и высокомерно сказал он, окидывая компанию своими самоуверенными взглядами. – А вы все еще и не доросли до Золотой-то роты, потому: вы – трусишки! Чупров! – крикнул он одному из своих, – ступай, сними маску с Чижики, а то мальчишка, пожалуй, еще задохнется, и руки развяжи ему кстати, да дай еще доброго подзатыльника, чтоб вперед получше караулил.

«Маска», которую употреблял в подобных обстоятельствах Ковров, была не что иное, как клеенка, вырезанная в величину человеческого лица и с одной стороны густо смазанная липким варом, посредством терпентинного масла приведенным в нетвердеющее состояние. Ковровские молодцы употребляли этот «струмент» с изумительной сноровкой: обыкновенно делалось так, что один из них, тихо подкрадываясь сзади к избранной жертве, ловким ударом вклеивал ей в физиономию липкую клеенку – и жертва тотчас же становилась нема и слепа, задыхалась от недостатка воздуха; засим, если представлялась надобность, скрученные назад руки перетягивались бечевой, и начиналась дальнейшая «помада», смотря по тому, нужно ли было ограбить или совершить что-либо иное.

Золотая рота образовалась в половине тридцатых годов. Первыми основателями ее были три польских дворянина. Она никогда не отличалась многочисленностью своих членов, зато все уж они могли с честью назваться отчаяннейшими головорезами, которые нигде и ни в чем не знали преград для своих самых дерзких подвигов. Настоящий вожак этой шайки, поручик Ковров, был в полном смысле то, что называется *triple canaille*<sup>65</sup>. Дерзкий, храбрый и самоуверенный, он обладал, кроме того, еще красотою, манерами и светским лоском, известным под именем образования. Перед членами Золотой роты, и в особенности перед Ковровым, трепетали все остальные хороводы. Он повсюду имел своих тайных агентов, которые незаметно, но зорко следили за каждым предприятием Мазуров. В момент исполнения такого предприятия на место действия вдруг неожиданно-негаданно являлся Ковров с кем-либо из своих и требовал контрибуцию, грозя в противном случае тотчас же донести полиции, – и мошенники, для того чтобы «смирить ему звонок», невольно должны были жертвовать часть сламу, какую он сам заблагорассудил себе назначить. Действуя необыкновенно тонко и ловко во всех своих предприятиях, он вел себя так, что под него никак нельзя было подпустить иголки, и таким образом грабил вдвойне: и мирных обывателей града С.-Петербурга, и мазуриков вместе. Подобный промысел искони существует и в мазурничьем мире: между ними есть разряд людей, которые сами никогда не пускаются на воровство, но промышляют собственно тем, что узнают о всякой покраже, и за одно это знание, за одно отрицательное соучастие свое получают известную долю – лишь бы только молчали да полиции не выдали. Впрочем, надо прибавить, что подобных людей в этом мире очень немного, и все они пользуются у самих мазуриков глубочайшим презрением. Не пользовался им только Ковров, но это потому, что он вообще действовал *en grand* и пускался со своей Золотой ротой на такие отчаянные, рискованные подвиги, о каких остальные хороводы и мечтать не дерзали. Мазурики, какого бы разряда они ни были, вообще очень уважают риск, хитрость и силу, – поэтому они и Коврова уважали, боясь и ненавидя его в то же время до последней степени.

– Кому это пачпорт изготавливаете? – спросил он, взяв со стола бумагу и преспокойно запихивая ее в свой карман.

Гречка кивнул головой на Бодлевского.

---

<sup>65</sup> Тройная каналья (фр.).

– Ага, так это для вас? очень приятно слышать! – сказал Ковров, смеривая его глазами. – Итак, господа, двадцать пять рублей, или прощайте – до приятного свидания в следственной камере.

– Господин Ковров! позвольте с вами говорить по чести! – вмешался опять Пахом Борисыч. – Мы взяли за дело двадцать рублей – вам весь хоровод даст в этом свое честное слово! – ведь не подлецы же мы какие! Ведь не станем же мы из-за двадцати каких-нибудь паршивых рублишек лгать вам и марать честь своего хоровода!

– Вот это – дело! это хорошо сказано! Хорошее слово я люблю и всегда готов уважить! – поощрительно заметил Сергей Антоныч.

– Ну, так сообразите же сами, – продолжал чиновник, – сообразите, что, отдавши вам всю выручку, мы все на шишах должны остаться! За что же нашему труду пропадать занапрасно!

– Пусть вот они заплатят! – сказал Ковров, вскинув глаза на Бодлевского.

Бодлевский снял с себя золотые часы – единственное наследство от своего отца, и вместе с оставшимися пятью рублями бросил их на стол перед Ковровым.

Ковров опять вымерил его глазами и улыбнулся.

– Вы – благородный молодой человек, – сказал он, – вашу руку! Я вижу, вы далеко пойдете.

И он с чувством пожал руку граверу.

– Только надобно вам знать на будущее время, – прибавил он дружески-внушительным тоном, – что я в своих сношениях с этим народом никогда не пользуюсь вещами, а всегда заставляю платить контрибуцию чистыми деньгами. Эй, вы! – крикнул он, обращаясь к компании. – Ступайте кто-нибудь с часами к вашему святоше Прову Викулычу – пусть он мне разменяет их по совести – слышите ли, по совести! – на две трети того, что стоят: вещь хорошая, в магазине надо шестьдесят рублей заплатить. Да пусть приготовит мне ерша в салфетке<sup>66</sup>; я приду к нему в гости, а иначе – плохо будет! – крикнул он вдогонку удалявшемуся Юзичу, который через минуту возвратился и подал Коврову сорок рублей. Ковров пересчитал и положил себе двадцать в карман, а остальные молча, но с джентльменской улыбкой, возвратил Бодлевскому.

– Одно вынимается, а другое кладется на смену, – сказал он, подавая Бодлевскому вид вдовы коллежского асессора. – Теперь старый плут, Пахомка, может и за делопроизводство свободно приниматься.

– Да что ж тут приниматься? – с улыбкой заметил Пахом Борисыч. – Вид ведь чистенький, дворянский; особых примет, якобы глаза серые, нос умеренный, писать по закону не требуется – значит, и так сойдет полегоньку. А теперь бы мне вот рюмочку, да потом и за трыночку, – заключил он, направляясь к штофу и на пути пригласительно показывая Гречке колоду карт.

– Мы с вами будем знакомы; мне ваше лицо понравилось, и потому, надеюсь, сделаемся друзьями, – сказал Ковров, вторично пожимая Бодлевскому руку. – А теперь пойдемте – выпьем. Вы мне за стаканом расскажете, для чего вам нужен этот пачпорт, а я, за ваш поступок с часами, зла вам не пожелаю. В этом дает вам свое честное слово поручик Сергей Ковров! Я тоже умею быть великодушным! – заключил он, и новые друзья, в сопровождении всей компании, направились в «чистую половину».

\* \* \*

Ночная оргия в «Ершах» находилась уже в полном своем разливе. Был двенадцатый час ночи. Чистая половина вполне представляла собою смешение языков. Грязь ее обстановки как-

---

<sup>66</sup> Бутылка шампанского, которую подают обернутую в салфетку (жарг.).

то сама собою устроилась к этому заповедному часу ночной ершовской жизни. Публику составляли почти исключительно мазурики, покончившие дневные счета, и с горя, общипанные мешками, а наипаче Провом Викулычем, угарно пропивали ему же свои последние гроши. Подле каждого почти сидела женщина весьма непрезентабельной наружности. Компания мастеровых – все та же, которая и днем тут заседала, – по сию пору разваливалась на прежнем своем месте, за двумя составленными столиками; только почтенные члены ее, что называется, «лыка не вязали», обретаясь в том вялом состоянии, когда человек становится уже «непомнящим родства». Один только угощатель-мальчонка сохранял еще кое-какие бессознательно-нервные признаки усиленной жизненной деятельности. Он, закрыв свои отяжелевшие глаза, как-то конвульсивно размахивал в беспорядке руками, опрокидывая на скатерть пивные бутылки и стаканы, судорожно мотал головою и по временам с большим усилием выкрикивал какие-то дикие, бессмысленные звуки.

Один только Пров Викулыч посреди этого всеобщего хаоса невозмутимо сохранял свою благоразумную степенность за буфетной стойкой, и чем солиднее казался он, тем резче являл собою этот контраст со всем окружающим. А на «квартире», где, при нагорелом сальном огарке, Пахом Борисыч и Гречка азартно резались в трынку, шла своя обычная деятельность, под бдительным присмотром и руководством вездесущего Прова Викулыча, не перестававшего с известными интервалами юркать в свою дверцу. Там поминутно приходили и уходили его доверенные люди: ювелиры, которым он продавал золотые вещи; портные и скорняки, покупавшие платья и меха, и, наконец, еще один разряд личностей, преимущественно из евреев, промысел которых состоял в том, чтобы некоторые вещи, какие почему-либо неудобно или опасно было оставить в Петербурге, увозить в Москву и в другие города, где уже они сбывались без всякого опасения и за хорошие деньги. Занятия этого последнего рода требуют особенной честности – и, надо отдать справедливость Прову Викулычу, он умел выбирать людей. Впрочем, честность эта обуславливалась и самой выгодой такого промысла, требующего особенной ловкости, предусмотрительности и сноровки; надо знать – где что, когда и как и кому выгодней сбывается и какими куда путями удобнее добираться.

Между тем говор и восклицания перекрещивались меж собою по всем углам «чистой половины» и мешались с звуками песни под аккомпанемент торбана и ложек. Эти последние звуки производили два артиста, которые в то время, к одиннадцати часам ночи, постоянно являлись в «Ерши» развлекать своим искусством ночных посетителей. Торбанист – Мосей Маркыч, сухощавый, высокий брюнет, очень серьезного и меланхолического вида, был точно истинный артист: его пальцы с необыкновенною быстротою и художественным тактом бегали по струнам торбана, и когда увлекался он извлекаемыми им звуками, все лицо его как будто преображалось: светлело или туманилось с каждым музыкальным переходом. Не менее художником в душе был и товарищ его, певец и ложечник – Иван Родивоныч, курносый, рябой, приземистый и широкоплечий костромич, в поддевке и красной рубахе. Когда он своим немножко гнусавым тенорком «отхватывал» какую-нибудь чибирячку<sup>67</sup> – все поджилки и суставчики его, словно на пружинках, ходенем ходили: ходили брови и скулы, ходили плечи, и руки, и пальцы, и коротенькие полешки-ноги; ходила, наконец, грудь и даже самый живот, которыми он выделял удивительные штуки, к общему удовольствию столпившихся слушателей. Мы потому так обращаем внимание читателя на Мосея Маркыча с Иваном Родивонычем, что ему еще придется впоследствии встречаться с этими двумя личностями, составляющими необходимое звено трущобной жизни и даже ее светлую сторону, если в ней таковая только возможна.

Что ты, черен ворон, вьешься  
Над моею головой?

<sup>67</sup> Песня со скандальным характером (жарг.).

– чувствительно гнул Иван Родивоныч, а Мосей Маркыч баском подтягивал ему:

Ты добычи не добьешься:  
Я не твой, нет, я не твой!

Мое тело здесь не тлеет,  
Тлеет лишь одна душа,

– еще чувствительнее выводил свои верхние нотки Иван Родивоныч:

И она-то разумеете.  
Сколь ты, Маша, хороша!

– вторил ему басок Мосей Маркыча. Слушатели оставались в полном восторге.

– Здорово, ребята! – гаркнул с авторитетом лихого ротного командира Ковров, молодежато входя в комнату под руку с Бодлевским.

– Раз, два, ваше-ство! – крикнули в ответ артисты. Почти вся остальная публика, которой хотя бы и по слухам был только известен Сергей Антонович, почтительно привстала с мест и поклонилась.

– Садись, ребята! пей и гуляй не стеснясь! – снова скомандовал Ковров и обратился к музыкантам: – Ершовскую! да живее!

Мосей Маркыч встряхнул своей черной курчавой головой, ударил по струнам, а Иван Родивоныч звякнул ложками и пошел вприпляску:

Как на гору, значит, еж ползет –  
Под горою горемыка идет.  
Ты куды же, куды, еж, ползешь?  
Ты куды же, горемыка, идешь?  
Я иду-ползу на барский двор,  
Ко Агафье свет-Ивановне,  
К Серафиме Сарафановне.

И вдруг, на этом последнем стихе, он как-то конвульсивно встряхнулся всем телом, лихо топнул ногами, еще лише подзвякнул ложками – и вся компания, наполнявшая эту комнату, с гиком, свистом и каким-то жиганьем подхватила вслед за ним, стуча и топая каблуками:

Ах, ерши, ерши, ерши, ерши, ерши – да  
Все по четверти ерши, ерши, ерши – да  
По полувершку ерши, ерши, ерши – да  
Запушу так и держи, держи, держи!

– Тук-тук, у ворот! – выкрикнул Иван Родивоныч, стараясь перекрыть весь этот шум, гам и топот.

– Кто тут? – спросил его Мосей Маркыч.

– Еж!

– Зачем пришел?

– Попить-погулять, с вашим девкам баловать.

– Что принес?

- Грош.
- Ступай прочь: хвост нехорош!
- Тук-тук, у ворот! – повторил опять Иван Родивоныч.
- Кто тут? – своим заученным тоном снова ответил Мосей Маркыч.
- Еж!
- Что принес?
- Пятак!
- Шишки! идешь не так! – порешил торбанист – и ложечник снова пустился вприпляску:

Загуляла тут ежова голова,  
На чужой стороне живучи,  
Много горя принимаючи,  
Свою участь проклинаячи!

– Ах, ерши, ерши, ерши – да все по четверти ерши! – подхватила в ответ ему честная компания с новым неистовым гиком и жиганьем, еще сильнее прежнего приходя в какой-то дикий, шальной экстаз от тех ловких, размашистых телодвижений, которыми сопровождалась «Ерши» Ивана Родивоныча.

Оргия в этом роде длилась далеко за полночь. Бодлевский, все щупавший свой боковой карман – там ли его паспорт, вышел наконец из заведения, словно в каком-то чаду, с крайне расстроенными нервами. Он чувствовал себя как-то тяжело счастливым; его давило и сознание этого счастья, и чувство неизвестности того, что задумала Наташа, и вопрос: как-то еще все это кончится, и убеждение, что первое преступление им уже сделано. Все эти ощущения свинцовым наплывом ложились на его душу, тогда как в ушах его свежо отдавался дикий отзвук ершовской песни.

## XII КЛЮЧИ СТАРОЙ КНЯГИНИ

Было девять часов вечера. Наташа засветила ночную лампу в спальне княгини Чечевинской и осторожно вышла в смежную комнату приготовить ей перед сном успокоительных порошков, которые только что прописал доктор.

Княгиня все еще была очень слаба. Хотя беспамятство ее и миновалось, но по временам с нею начинали делаться истерические припадки; по временам она впадала в забытие и то нервно вздрагивала, то продолжительно дрожала всем телом. Мысль об ударе, нанесенном ей дочерью, не покидала ее ни на минуту.

Наташа только что сменила с дежурства горничную старуху. Ей предстояло просидеть над больной до полуночи. В доме княгини всегда господствовала тишина, а во время болезни ее эта тишина удесятилась. Все ходили на цыпочках и говорили шепотом, боясь кашлянуть или звякнуть в буфете чайной ложечкой. Дверные звонки были завязаны полотенцами, и вся улица перед домом широко и мягко устлана соломой. К девяти часам домашние уже расходились по своим уголкам и ложились спать; одна только дежурная тихо сидела у изголовья старухи.

Налив полрюмки воды, Наташа всыпала туда порошок и вынула из домашней аптеки маленькую склянку с бледно-желтоватою жидкостью. Это был опиум. Осторожно осмотревшись кругом, она медленно приложила к рюмке горлышко скляночки и влила туда счетом десять капель. «Будет достаточно», – подумала она и усмехнулась. Лицо ее, как и всегда, было холодно-спокойно, и ни малейшая тень какого-либо ощущения не пробежала по нем в эту минуту.

Старуха, приподнятая под спинку Наташиной рукою, поморщась, проглотила поднесенное ей лекарство – и через несколько минут опиум оказал свое действие: время от времени конвульсивно подергивая нижнюю губою, она впадала в глубокий и тяжелый сон. Наташа, чутко вытянув шею, неподвижно и внимательно из-за угла подушки глядела на ее лицо, следя за симптомами одурения, и когда убедилась, что сон окончательно сковал ее члены и что старуха вполне уже лишена на несколько часов возможности услышать что-либо и очнуться, она медленно пододвинула ближе к изголовью большое свое кресло и, не сводя спокойно-внимательного взора с ее лица, тихо запустила руку под нижнюю подушку. Подвигаясь вперед с величайшей осторожностью и не более как на несколько линий, рука ее поминутно останавливалась, чуть только оттенок малейшего нервного движения пробежал по лицу старухи, к которому неотводно были прикованы глаза Наташи. Но старуха спит непробудно – и рука опять на какие-нибудь полвершка тихо подвигается вперед. Прошло уже около получаса, а глаза горничной все еще напряженно вперялись в сонное лицо, и рука все еще подвигалась вперед под подушкой, уклоняясь по временам несколько в стороны и как бы нащупывая там что-то. Выражение Наташи было в высшей степени спокойно и сосредоточенно, но в этом спокойствии в то же время крылось нечто другое, заставлявшее предполагать, что если – не дай бог – очнется как-нибудь в эту минуту старуха, то другая, свободная рука в то же мгновение задушит ее горло.

Наконец кончики пальцев нащупали там что-то твердое. «Это он!» – подумала Наташа и остановилась перевести дух. Через минуту, ухватясь за свою находку, рука ее так же медленно и осторожно стала подвигаться назад.

Прошло еще с добрых десять минут, когда, наконец, Наташа увидела маленькую мошонку из разноцветного сафьяна, какими обыкновенно торгует город Торжок наряду с другими своими сафьяновыми и золотошвейными изделиями. В этой мошонке у старой княгини хранились два ключа, с которыми она никогда не расставалась: днем носила в кармане, а ночью клала к себе под подушку. Один ключ – обыкновенный – был от ее комода, другой – изящный, маленький – от ее заповедной шкатулки.



Около часу спустя ключи эти тем же порядком и с тою же осторожностью были положены на свое обычное место, под подушку княгини.

Наташа тщательно вытерла рюмку своим носовым платком, чтобы в ней не оставалось ни малейшего запаха опиума, и спокойно, как и всегда, досидела часы своего дежурства.

## XIII ОТОМСТИЛА

Старуха проснулась на другой день часу в первом. Доктор, заезжавший уже два раза утром, был даже доволен столь продолжительным сном, которого больная почти не знала со времени полученного ею удара и который, по его мнению, должен был произвести благотельный перелом болезни.

Княгиня издавна уже сделала себе привычку – переглядывать свои финансовые документы и поверять приходо-расходные книги. Всесильная привычка, образуя собою в человеке нечто органическое, не покидала ее и в болезни; по крайней мере, в то время, когда сознание и спокойствие возвращались к ней, она выдавала ключ от комода, приказывала подать себе заветную шкатулку и затем, выслав дежурную вон из комнаты, предавалась наедине своему любимому занятию, превратившемуся теперь в нечто весьма близкое к детской забаве. Она вынимала свои банковые билеты, именные и безыменные, и – то любуясь их цветными рисунками, то перекладывая с места на место – шупала толщину пачек, пересчитывала их и несколько тысяч наличных денег, на всякий случай лежавших дома, и, наконец, бережно, в порядке, опять укладывала все это в шкатулку. Горничная, возвращаясь в спальню по ее звонку, ставила шкатулку на старое место – и княгиня, после этой забавы, чувствовала себя еще на некоторое время спокойной и довольной.

Дежурные уже успели достаточно познакомиться с этой прихотью, и потому каждодневная подача шкатулки казалась им совершенно в порядке вещей, делом заведенного обыкновения.

Приняв какое-то лекарство и обтерев лицо и руки полотенцем, смоченным в каком-то освежающем винегре, княгиня приказала прочесть ей несколько молитв с той главой евангелия, которая следовала в нынешний день, и затем приняла визит своего сына. Со времени ее болезни, то есть с тех пор как была сделана духовная, утверждающая его единонаследие, он поставил себе не совсем-то веселою обязанностью являться к матери каждое утро минут на пять, причем, ни разу не заводя разговора о сестре, осведомлялся только о здоровье, являл себя почтительным сыном, и, в заключение, нежно, со вздохом сокрушения поцеловав руку, уносился на рысаке поторчать в приемной какой-нибудь танцовщицы или в ресторан.

По уезде сына старуха приказала достать себе шкатулку и, по обыкновению, выслала вон из спальни дежурную женщину.

Это была великолепная шкатулка из черного дерева с инкрустацией изящнейшей отделки.

Ключ щелкнул в замке, пружинная крышка отскочила – и глаза княгини остановились неподвижно, пораженные недоумением и ужасом.

Двадцати четырех тысяч наличными деньгами, которые она сама своими руками положила вчера поверх прочих бумаг, сегодня в шкатулке не было. Всех безыменных банковых билетов тоже не было. Билеты на имя дочери, княжны Анны, тоже исчезли. Оставались только именные – старухи и сына, да кое-какие векселя. На место всего пропавшего была положена записка с надписью:

«а Madame  
Madame la princesse Tchetchevinsky»<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> «Госпоже княгине Чечевинской» (фр.).

Пальцы старой княгини так трепетали, что долгое время она не могла развернуть эту записку. Потерянные глаза ее дико бегали, как у помешанной. Наконец ей как-то удалось-таки развернуть почтовый листок – и она стала читать:

«Вы меня проклинали, прогнали и несправедливо лишили наследства. Я у вас украду мои деньги. Можете доносить полиции; но в то время, когда вы прочтете эту записку – ни меня, ни того, кто по моему поручению сделал покражу, уже не будет в Петербурге.

Ваша дочь  
княжна Анна Чечевинская».

У старухи руки не опустились, но, как нечто совсем ей не принадлежащее, безжизненно брякнулись на ее колени. Бегающие, сумасшедшие глаза остановились, и в них вдруг появилось глубокомысленное выражение. Княгиня делала страшное, нечеловеческое в ее положении, усилие, чтобы собрать все присутствие духа и владеть собою. Один только слабый, глухой стон вырвался из ее груди, да зубы скрежетали. Она стала искать глазами огня, но лампа была потушена: матовый, синеватый просвет дня, сквозь опущенные гардины, достаточно освещал комнату. Тогда старуха диким, неровным движением, напоминавшим подобные же движения перепуганных обезьян, скомкала это письмо рукою, быстро положила его в рот и конвульсивно, с усилием двигая челюстями, стала жевать его, стараясь проглотить поскорее.

Минута – и письма уже не существовало. Княгиня заперла шкатулку и позвонила дежурную. Отдавши ей спокойным голосом обычное приказание, она имела еще достаточно силы, приподнявшись на локте, глядеть, как та запирала комод, и потом положить к себе под подушку на всегдашнее место торжковскую мошонку с ключами. После этого она опять приказала ей выйти.

Когда спустя два часа, приехавший в третий раз доктор захотел, наконец, поглядеть больную и вошел в ее спальню – там уже лежал только вытянувшийся, окоченелый труп старухи.

Дочь княгини Чечевинской, последняя отрасль древнего и никогда ничем не запятнанного рода – распутная женщина и воровка!

Наташа отомстила.

## XIV

### БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОКРАЖИ

В тот же самый день, утром к девяти часам, в коммерческий банк хорошо одетая дама представила нумера нескольких безыменных билетов. Одновременно с нею молодой человек, тоже весьма изящно одетый, представил билеты именные, на обороте которых был сделан рукою владительницы передаточный бланк: «Княжна Анна Чечевинская». По сличении с подписью того же самого имени в банковых книгах бланк признан действительным – надпись делала одна и та же рука.

К двенадцати часам банковский казначей хорошо одетой даме выдал полтора ста тысяч наличными деньгами, а изящному молодому человеку – семьдесят. Дама подписалась французской подданной Терезой Доре, а молодой человек – костромским купеческим сыном Иваном Афанасьевым.

В тот же самый день, только несколько позднее, а именно в начале второго часа, по парголовской дороге легковой извозчик вез двух седоков: скромно одетую молодую женщину и скромно одетого молодого человека. К вечеру эти же самые путешественники ехали уже в чухонской ратке по каменистой, горной финляндской дороге, в направлении к городу Або. Вез их вольнонаемный финский крестьянин из-под Парголова, промышлявший извозом.

Через четыре дня хоронили в Невском монастыре старую княгиню Чечевинскую. Провожающих было очень много и между прочими m-me Шипонина с тремя грациями. Все с несколько таинственным любопытством перешептывались между собою. В кругу дам особенно много шептались с тремя грациями. Князь Шадурский тоже присутствовал на похоронах, только без жены – m-me la princesse была нездорова – и тоже с любопытством расспрашивал и шептался. Хоронил старуху молодой сын ее, все старавшийся сделать официально-печальную физиономию и все забывавший поминутно про это старание.

Княжны Анны на похоронах не было. Когда одна из трех граций с благородным участием спросила молодого Чечевинского, почему ее нет, – тот неопределенно и кратко ответил, что сестра очень больна. Все почему-то ждали на похоронах какого-то скандала; но скандала никакого не было.

Возвратясь из монастыря, молодой князек первым делом открыл заветную шкатулку, которую до этого времени он видал только мельком, и то очень редко. Он ожидал найти там гораздо более, но нашел лишь полтора ста тысяч: сто на имя покойницы, и пятьдесят – на свое. Эти деньги составляли личное ее достояние, полученное в приданое. Молодой князек сделал кисленькую мину – этих денег могло для него хватить года на три, не более. Никто никогда не знал при жизни старухи, до какой именно цифры простирается ее состояние, и потому молодому князьку и в голову даже не пришло – не было ли у нее еще каких-нибудь денег? В счетные же ее книги он, по безалаберной ветрености своей, даже и не заглянул, считая их сухой материей, где только записывалось со всей аккуратностью, сколько куда истрачено да какие проценты получены.

В этот же день дворник одного из огромных и грязных домов на Вознесенском проспекте снес в квартал отметку, в которой было прописано, что польский уроженец Казимир Бодлевский выбыл за город; а управляющий домом покойной княгини Чечевинской объявил полиции, что крепостная девица Наталья Павлова пропала без вести, о чем он, управляющий, по прошествии трехдневного срока, и доводит до надлежащего сведения.

А в это время уже по Ботническому заливу легко скользило маленькое суденышко некоего финна, отважного мореходца, промышлявшего под рукой невинною контрабандой. Финн стоял на корме, а молодой сынишка его заправлял парусами. На палубе сидели молодой человек и молодая женщина. На груди у женщины висел спрятанный под сорочкой мешочек, хра-

нивший в себе двести сорок четыре тысячи наличными деньгами, а в карманах у той и у другого было по паре заряженных пистолетов – на всякий случай, ради предосторожности против добрых людей. Имевшиеся же при них паспорта гласили, что женщина была дворянка, вдова коллежского асессора Марья Солонцова, а мужчина – польский уроженец Казимир Бодлевский.

Судно прорезывало Ботнический залив по направлению к шведскому берегу.

## XV

### ГЕНЕРАЛЬША ФОН ШПИЛЬЦЕ

Мы должны будем теперь вернуться к самому началу нашего рассказа, то есть к тому именно дню, в утро которого семейство князя Шадурского посетила божья милость в виде подкинутого младенца.

Выйдя из будуара жены, князь тотчас же приказал закладывать коляску, оделся и поехал к генеральше фон Шпильце. Генеральша фон Шпильце жила в Морской на одном из лучших ее мест. Она занимала большую, поместительную квартиру с немножко странным расположением и характером комнат. Тут были и зала с колоннами, и гостиная с изящнейшим камином, и великолепная лестница со статуями; и в то же время другая, тоже чистая лестница, только попроще, без швейцара, цветов и статуй, которая вела с другого подъезда в ту же самую квартиру. Только с этой уже стороны квартира генеральши фон Шпильце отличалась не изящно-аристократическим, но удобно-индустриальным характером – и именно была приспособлена к тем условиям, каких требуют так называемые *chambres garnies*<sup>69</sup>: темная прихожая, темный коридор, и не прямой коридор, а какой-то изломанный который шел разными закоулками и зигзагами. Направо и налево по бокам этого коридора помещались разные двери, которые вели каждая в отдельную комнату, очень изящно меблированную разными драпери и весьма покойною, комфортабельною, мягкой мебелью. Каждая из них могла назваться не то кабинетом, не то будуаром, не то гостиной и вообще являла собою какой-то смешанный, но очень милый, удобный и привлекательный характер. На всем лежала печать роскоши, и опять-таки роскоши не аристократически-показной, а интимно-комфортабельной. Можно было бы подумать, что все это отдается внаймы разным лицам как обыкновенные *chambres garnies*, а между тем жильцов тут никогда не было; комнаты, очень тщательно прибиравшиеся каждодневно прислугой, оставались нежилыми, ибо сама генеральша занимала половину аристократическую. На этой последней половине господствовала прислуга мужская, в ливрейных или черных фраках; вторая же половина оставалась под присмотром исключительно женщин. Три или четыре горничные, весьма миловидные, постоянно молчаливые, скромные и опрятно одетые в простые холстинковые платья, имели обязанностью прислуживать на этом отделении и содержать его в постоянной чистоте и опрятности. Генеральша самолично каждое утро делала осмотр всей своей квартиры, наблюдая, все ли в порядке. Она паче всего любила порядок. Прислуга ее, необыкновенно ловко выдрессированная, являла собою одну только странную особенность: вся она, начиная от швейцара, отставного усаха-гвардейца, нарядженного в ливрею, и кончая скромными горничными, при каждом посещении постороннего человека так пронырливо заглядывала ему в глаза, как словно бы прицеливалась, нельзя ли сорвать с него что-нибудь на чай. Вероятно, ее издавна приучили к этому сами же знакомые генеральши фон Шпильце.

Сама генеральша – особа лет тридцати пяти. Зовут ее – Амалия Потаповна. Это очень полная, дородная дама, среднего роста, одетая всегда не иначе, как в шелковое, шумящее, широкое платье. Лицо ее носит чуть заметные следы очень тонких косметик, а черты этого лица являют какой-то смешанный характер. Рыжие немецкие волосы, карие, жирные глаза в толстых веках, с еврейским прорезом, несколько вздернутый французский нос, крупные русские губы и слегка калмыцкие скулы – все это очень неправильное, хотя и характерное в отдельности, в целом являло собою отчасти соединение спеси с пронырливым лукавством и в то же время не было лишено – не то что красоты, а так себе, известного рода приятностей и

---

<sup>69</sup> Меблированные комнаты (фр.).

привлекательности, которые иногда очень ценят некоторые любители. Генеральша говорила на нескольких языках, но на всех дурно и с каким-то особенным, не совсем приятным акцентом, так что из разговора ее выходил какой-то винегрет, в котором, подобно кускам дичи и говядины, огурцов и картофеля, свеклы и прочей винегретной приправы, мешались между собою фразы и слова французские, немецкие и русские с еврейским оттенком. Кто и что она, за каким генералом была замужем и когда, в какое именно время была – того никто не знал; знали только, что она – генеральша фон Шпильце, и под этим именем испокон веку была всем известна. Как и когда и откуда она появилась на петербургском горизонте – это также для всех была темна вода во облацех; но, казалось, как будто тоже испокон веку она пребывала в сем городе. Некоторые старожилы передавали, и то как темные слухи, что в начале двадцатых годов, то есть во времена своей первой цветущей юности, она пользовалась покровительством одной весьма важной и значительной особы, через что приобрела тогда, вместе с весом и влиянием, весьма большое состояние. Но что это была за особа, что за вес и влияние и каково состояние, благоприобретенное ею, – об этом никто и никогда не мог дать ясного, положительного ответа. Одни утверждали, будто генеральша фон Шпильце родом эльзасская француженка; другие говорили, что она рижская немка, а не то и чухонка; третьи – что она варшавская полька; четвертые – подозревали в ней житомирскую еврейку; пятые – нежинскую гречанку или женеvскую швейцарку; шестые, наконец, выдавали за достоверный слух, что она, во-первых, дочь какого-то киргиз-кайсацкого хана, а во-вторых – симбирская дворянка. Как уж все это вязалось между собою и насколько присутствовала тут истина – сие только одному господу богу известно! Выходила же из всего этого загадочная, но всем известная личность, называемая генеральшей Амалией Потаповной фон Шпильце. И действительно, будучи не то немка, не то француженка, не то еврейка, не то, наконец, русская – она соединяла в своей особе всего понемножку. Даже самое имя ее было какое-то смешанное: Амалия – и вдруг Потаповна! Казалось, как будто коренные представители всех национальностей собрались между собою и каждый бросил свою посильную лепту в общую сокровищницу, из которой и произрос столь замечательный фрукт, как генеральша фон Шпильце.

У ней была бездна знакомых. Серебряная плоская ваза, стоявшая на изящном мозаичном столике в ее гостиной, вечно была переполнена всевозможными визитными карточками. Тут мешались между собою карточки мужские и женские, мешались титулованные имена известнейших фамилий и сильных тузов мира сего – с тузами откупной, золотопромышленной и вообще финансовой колоды; карточка великосветской Дианы – с карточкой известнейшей блестящей лоретки; имена художников и артистов – с именами сынов Фемиды и Марса; фамилия строгого, нравственного отца семейства – с фамилией какой-нибудь темной личности, какого-нибудь известного шулера, афериста, шарлатана или *chevalier d'industrie*<sup>70</sup>. Словом, весь свет знал генеральшу фон Шпильце, и она весь свет знала.

Но приемных дней у нее не было. Каждый, у кого только имелась до нее какая-либо надобность, должен был делать ей визит и писать письмо, в котором испрашивал себе свидание. Тогда генеральша назначала особую аудиенцию, на которой и можно было изложить ей свою надобность. Вероятно, этих различных надобностей было достаточное количество, потому что генеральше приходилось давать ежедневно весьма много аудиенций. Иногда случалось так, что она принимала с девяти часов утра до часу ночи – и всегда посетители один за другим сидели в ее приемной, приезжая каждый в заранее назначенный самую генеральшею час и ожидая, пока ливрейный лакей раскроет дверь и скажет: «Пожалуйста-с!» Иногда же случалось и так, что посетитель, входивший с парадного подъезда, по лестнице со статуями, выходил из подъезда непарадного, дабы избежать какой-нибудь отчасти неловкой или не совсем приятной встречи, что всегда очень обстоятельно умела предупреждать генеральша фон Шпильце. А для этого,

<sup>70</sup> Мошенник (буквально – рыцарь промышленности) (фр.).

в том случае, если у нее находилась уже с визитом какая-нибудь особа, то о вновь прибывшем посетителе докладывал не лакей, как обыкновенно, а собственная горничная генеральши, которая подходила к ней, будто что-нибудь по хозяйству шептала ей на ухо. Генеральша, подумав и быстро сообразив, тоже шепотом отдавала горничной свои инструкции, которые та уже и сообщала официальному лакею. Круг ее деятельности был очень обширен и весьма разнообразен; она всегда была занята и потому очень дорожила своим временем, избегая на аудиенциях лишних, посторонних слов и давая самые ясные и короткие ответы. У нее был великолепный повар, а в буфете всегда имелся большой запас самых тонких и дорогих вин, но обедов или ужинов генеральша никогда не давала и открытых вечеров не делала. У нее бывали иногда (если предстояла надобность) вечера интимные, маленькие, на которых присутствовали две-три, много четыре особы, которые сами, по своим надобностям, пожелали бы быть на таком вечере, уже заранее условясь с хозяйкою насчет избранного дня и часа. На больших вечерах и балах большого света генеральша никогда не показывалась; но инкогнито, в простые дни и вечера, карета ее очень часто останавливалась иногда у подъезда какой-нибудь великосветской львицы или строгой Дианы, недоступной и целомудренно-гордой в блеске общественной обстановки. В это время обыкновенно отдавалось приказание никого не принимать, что и было исполняемо швейцаром, весьма строго до тех пор, пока не кончался интимный визит. А если бы кто-либо из непринятых полюбопытствовал узнать, чей это экипаж стоит у подъезда, то заранее выдрессированный кучер генеральши отвечал лаконически: «Господский», или, еще проще, ровно ничего не отвечая, посвистывал да глазел себе в сторону.

Генеральша была особа, в своем роде, весьма многозначительная. Ее все побаивались, показывали перед нею знаки глубокого уважения, и все почти, хоть раз в своей жизни, чувствовали в ней настоящую надобность. Причина довольно простая: генеральша знала все тайны света, да и не одного только света, – тайны, какого бы рода они ни были, и мистерии целого города были известны ей в совершенстве. Разные семейные отношения, дела между мужем и женою, приятни и неприятни, стремления и намерения, образ мыслей и убеждения, аферы и проделки и, наконец, вся скандальная потаенная хроника Петербурга – вот те богатства, коими обладала генеральша. Но при этом, надобно заметить, она решительно была лишена известной женской добродетели, называемой слабостью язычка. Сплетни или болтовни бесцельной, беспричинной никто никогда не слышал из уст Амалии Потаповны: она знала-ведала про себя и никому не открывала своих сведений. Другое дело, если кому-либо представлялась настоящая нужда в этих сведениях, тогда генеральша могла кое-что сообщить или разузнать, разыскать, но и то не иначе, как при сильных побудительных причинах, на которые бы могла рассчитывать на верное.

Какие нити, какие пружины употребляла она для всего этого, читатель узнает впоследствии, когда он более интимным образом познакомится с различными специальными отраслями многосторонней деятельности генеральши фон Шпильце.



## XVI

### РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

Шадурский давно уже, еще до женитьбы своей, был знаком с Амалией Потаповной и неоднократно имел нужду в ее аудиенциях. Она даже очень благоволила к нему и выражалась о нем не иначе, как «князь Шатурски – *das ist vrai gentilhomme*»<sup>71</sup>. Написав на своей визитной карточке, что имеет самую крайнюю и безотлагательную нужду, он отправил ее с швейцаром наверх к генеральше и минут через десять был принят.

– Вообразите, ко мне нынче утром подкинули девочку! – начал он, усаживаясь подле нее, как добрый и старый знакомый.

Амалия Потаповна ответ на это заменила кивком головы, который словно бы выражал собою: «Так-с!..»

– Я очень не рад такому сюрпризу, – продолжал он.

– А то ж объявить до полиции, – предложила ему генеральша.

– *Fi done!*<sup>72</sup> – махнул рукою Шадурский. – Рад, не рад, а делать нечего: подкинули, так уж и позаботься о ребенке.

– О, ja... aber das zeugt ihr edles Herz<sup>73</sup>, – похвалила Амалия Потаповна, изыскивая ему знак благоволения рукою. – А то ж я вам буду находить *une bonne nourrice pour cet enfant, s'il vous plait, monsieur?*<sup>74</sup> \* – предложила она.

– Нет, не то! Я бы вас попросил о другом, – возразил Шадурский.

– *Ganz zu ihren Diensten, ganz! ganz!*<sup>75</sup> – любезно поклонилась генеральша, которая, благоволя к Шадурскому «за его изящные манеры», иногда для него даже время свое на лишние слова расточала.

– Я его хочу отдать на воспитание в какие-нибудь хорошие руки и буду просить вас – позаботиться об этом, – предложил он.

– А зачем нельзя? Хоть в минут! Не! *cela est tout a fait possible pour moi!*<sup>76</sup> – согласилась генеральша.

– Чем скорее, тем лучше!

– И то правда! А какие кондиции ваши? – спросила она, принимая деловой тон, который в миг, и уж как-то невольно, сам собою появлялся у нее, чуть только разговор начинал касаться денег, условий и т.п.

– Я вам дам единовременно десять тысяч, – говорил Шадурский, – распорядитесь ими для этого ребенка, как будет лучше, – уж это вы сами знаете; а мне – чтоб уж больше никогда никаких забот и беспокойств не знать с ним, хоть и не слышать о нем вовсе; десять тысяч, надеюсь, это слишком достаточно и даже роскошно для какого-нибудь подкидыша.

– О, ja! certainement<sup>77</sup>, – согласилась фон Шпильце. – Но скажите, *vous ne soupconnez personne?*<sup>78</sup> \* – с подозрительной расстановкой добавила она.

– *Personne, madame*<sup>79</sup>, – ответил, пожав плечами, Шадурский.

---

<sup>71</sup> Это настоящий дворянин (нем.).

<sup>72</sup> Фи, фуй! (фр.).

<sup>73</sup> О, да... но это указывает на ваше благородное сердце (нем.).

<sup>74</sup> Хорошую кормилицу для этого ребенка, если вам угодно, сударь? (фр.).

<sup>75</sup> Вся к вашим услугам, вся, вся! (нем.).

<sup>76</sup> Э! это вполне возможно для меня! (фр.).

<sup>77</sup> О, да! конечно (фр.).

<sup>78</sup> Вы никого не подозреваете? (фр.).

<sup>79</sup> Никого, сударыня (фр.).

– Und haben sie nichts gehort?<sup>80</sup>

– То есть, насчет чего это? – переспросил он.

– Un petit scandale, qui est arrive dans le grand monde...<sup>81</sup>

– Какой скандал? – притворился Шадурский, начав с первых же слов догадываться, в какую сторону клонит генеральша, в намерении выпытать от него что-нибудь подходящее.

– Ах, так вы не слышали? – равнодушно и рассеянно проговорила она.

– Ничего не слышал, а что?

– Нет, а то ж так!

– Однако?

– Non, commerage!<sup>82</sup> и говорить не стоит! – поспешила замять генеральша, видя, что он ничего еще не знает, и опасаясь, как бы не обмолвиться чем-нибудь лишним. «Пусть от других сплетни узнают, лишь бы от меня без нужды и без цели ничто не выходило», – было постоянным ее правилом.

Шадурский, оставшийся не мало доволен тем, что она, по-видимому, не имеет на него никаких подозрений, в свою очередь тоже поспешил отклониться от дальнейшего разговора насчет скандала.

– Послушайте, Амалия Потаповна! по старой дружбе у меня к вам будет еще одна маленькая просьба! – сказал он с тем решительным выражением в лице и в голосе, с каким обыкновенно говорит человек, у которого долгое время не хватало духу начать высказывать что-либо затруднительное или неловкое и которого, наконец, по пересилении самого себя, что называется, прорвало.

– Дело для меня очень близкое и интересное, – добавил он, стараясь говорить и небрежнее и равнодушнее, чтобы смаскировать этим то маленькое волнение, которое заставило посылнее заботиться его сердце от некоторой щекотливости предстоящей просьбы.

– Н-ну? – протянула генеральша, вытянув вперед свою мордочку.

– Я бы попросил вас разузнать кое-что... по секрету...

– Ага!.. Je comprend... je comprend bien sa<sup>83</sup>, – с живостью подмигнула ему Амалия Потаповна.

– Нет... да вы что думаете? – спросил Шадурский, который искал как бы половчее объяснить ей свое дело.

– Eine dame, glaube ich? jung und charmant?<sup>84</sup> – опять подмигнула генеральша.

– Нет, не совсем так... Мне бы – вот видите ли – хотелось бы знать... как вам сказать-то это?... хотелось бы знать, кто интересовал мою жену в нынешнюю зиму, – выговорил наконец Шадурский, стараясь принужденными улыбками смягчить смысл своей фразы и потупясь, чтобы не встретиться с взглядом генеральши.

Эта последняя, действительно, глядела на него во все свои толстые, изумленные глаза.

– Как!.. – воскликнула она, – aber sie selbst?<sup>85</sup> такой прекрасный, красивый мужичин! Est-ce possible?<sup>86</sup> \*

Шадурский покраснел и еще более потупился. Ему окончательно стало неловко. Он закусил губу и пожал плечами.

<sup>80</sup> И ничего не слышали? (нем.).

<sup>81</sup> Небольшой скандал, случившийся в высшем свете... (фр.).

<sup>82</sup> Нет, сплетни! (фр.)

<sup>83</sup> Я понимаю... я хорошо понимаю это! (фр.)

<sup>84</sup> Дама, думаю я? молодая и хорошенькая? (нем.)

<sup>85</sup> Но вы сами? (нем.)

<sup>86</sup> Возможно ли это? (фр.)

– Non! vous-vous trompez, monsieur!<sup>87</sup> – сказала она решительным и разубеждающим тоном. – Я ж ничего не знаю, а я бы все знала, кабы что было... Et dans le monde on n'a jamais parle de cela<sup>88</sup>.

– Да в свете-то, может, и точно никто не знает, – согласился Шадурский, – но... я имею некоторые причины предполагать...

– Да! а то ж я и забыла! Ведь вас не было по зиме! – домекнулась m-me фон Шпильце.

– Ну, вот то-то же и есть!.. Я не то чтобы из ревности... а так собственно...

– Ah, oui, monsieur est un peu curieux! ich verstehe!<sup>89</sup> – любезно поддакнула генеральша.

– Ну, понятное дело!.. – подхватил Шадурский. – Спросить ее самое, согласитесь, не совсем-то ловко: может быть, я и ошибаюсь; а между тем хотелось бы знать, кто... Дело прошлое, – продолжал он, как бы оправдывая не то себя, не то супругу, – дело прошлое – и я нисколько не претендую... в наш век... тем более Жорж Занд... Вы понимаете!

– N-pu ja-a!<sup>90</sup> понимай!

– Тем более, что и сам я не безгрешен бывал иногда, – говорил князь, стараясь улыбаться и думая отговорками своими смягчить дело настоящей, голой истины – и перед генеральшей (как будто ее можно было провести этими смягчениями!), и перед своим собственным самолюбием. Его уж давно-таки помучивал вопрос: кто любовник жены? чем прельстил он ее – умом ли, красотой или положением? и не разыгрывает ли он, муж, перед ним комической роли благодаря незнанию своему? Впрочем, надо прибавить, что если бы в этом любовнике нашел он человека, равного ему по положению в свете, то смотрел бы сквозь пальцы на отношения жены, позволяя себе самому гласно делать вдвое Солее для спасения своего самолюбия, и только потребовал бы, чтобы этот избранный не скомпрометировал перед обществом честь его имени, если не желает подставить лоб свой под дуло пистолета. Но, в то же время, нельзя не прибавить, что ревность оскорбленного самолюбия по временам испускала самовольные и – ох! – какие болезненные крики в его сердце, – крики, которые он старался заглушать, обманывая это же самое самолюбие тем, будто ему решительно все равно, что бы ни делала супруга, и что он почитает себя неизмеримо выше всего окружающего мира и потому смотрит на все презрительными глазами.

– Только – ваше честное слово, что это умрет между нами! – прибавил Шадурский, побаивавшийся, чтобы генеральша как-нибудь при случае, под рукой, не сболтнула кому о его просьбе и о том обстоятельстве, которое ее вызвало.

Генеральша даже обиделась при этом. И в самом деле, зачем ей болтать в ущерб своим собственным интересам?

– Я надеюсь на вас, по старой нашей дружбе! Вы узнаете обо всем подробнее и обстоятельнее, понимаете? – сказал он заискивающим и ласковым тоном.

Генеральша покивала головой и с нежной сентиментальностью посмотрела на Шадурского.

– O, si jetais votre femme!<sup>91</sup> – вымолвила она со вздохом.

– Так что ж бы? – спросил князь, видя, что она приостановилась и недоговаривает.

– Je vous aurais aime! Je vous serais fidele...<sup>92</sup> – томно и тихо проговорила она, покачивая в лад головою, и в заключение опять вздохнула.

<sup>87</sup> Нет! вы ошибаетесь, сударь! (фр.)

<sup>88</sup> И в обществе никогда не говорили об этом! (фр.)

<sup>89</sup> О, да, сударь немного любопытен! я понимаю! (фр., нем.)

<sup>90</sup> Н-ну, да-а! (нем.).

<sup>91</sup> О, если бы я была вашей женой! (фр.)

<sup>92</sup> Я бы вас любила. Я была бы верна вам (фр.).

Шадурский молча поклонился; но вдруг, сообразив, что эта струнка может быть ему также полезна, вскинул на генеральшу такой взгляд, который очень красноречиво говорил: «А почем знать? быть может, оно еще и будет так!»

Генеральша очень скромно, но кокетливо улыбнулась на это...

Для читателя сомневающегося, – если бы такой нашелся, – мы не можем от себя прибавить, что Шадурский не был первый, да не он и последний, а много, очень много весьма солидных мужей не раз обращались к генеральше с подобными поручениями.

– Итак, вы постарайтесь же обделать; я буду очень, очень благодарен, – сказал князь, подымаясь и глядя на свои часы. – А что касается до подкидыша – так горничная жены привезет его к вам, в моей карете, часа через полтора.

– S'gu-ut!<sup>93</sup> – протянула Амалия Потаповна.

– Сегодня же я и пакет с деньгами привезу вам! – присовокупил Шадурский, дружески пожимая ее мягкие, потные руки.

– Sehr gut! – повторила генеральша. – Mais envoyez seulement la voiture nach andren<sup>94</sup> подъезд, – присовокупила она с улыбкой, подмигнув ему глазками, как человеку, которому таинственная роль этого «andren»<sup>95</sup> \* подъезда была уже давно и очень коротко знакома.

«Теперь бы надо к ней заехать; успокоить там, что ли... Она писала, а я не собрался еще ни разу, – размышлял сам с собою Шадурский, медленно проходя мимо лестничных статуй. – Неприятно, черт возьми; ну, да один-то раз куда ни шло! Только то скверно, что экипаж открытый: неравно увидят еще как-нибудь... Разве во двор приказать ему там въехать?» – думал он, садясь в коляску и справляясь по письму княжны Анны об адресе ее тайного приюта.

Его сиятельство, тридцатисемилетний муж и соблазнитель, сей гордый, демонический Чайльд Гарольд российский – стыдно сказать! – чувствовал теперь какой-то школьнический, заячий страх за свою романическую проделку.

На Невском проспекте с ним поровнялся один из известнейших вестовщиков большого света и, грациозно послав ему рукою воздушный поцелуй, поехал, не отставая, рядом.

– Une grande nouvelle!<sup>96</sup> – кричал он Шадурскому. – Вы не слышали?

– Что такое?

– Как! Вы спрашиваете, что такое? Вы ничего не слыхали о скандале?

– Ничего...

– Мой бог! Об этом говорит уже весь свет... Это – вещь небывалая!..

– Что же такое?

– La jeune princesse Tchetchevinsky...<sup>97</sup>

– Ну?

Сплетник, вместо ответа, сделал руками несколько пантомимных, очень выразительных и понятных жестов.

– Что за вздор! этого быть не может! – с улыбкой возразил Шадурский, хотя сердчишко его и сильно-таки екнуло при этой пантомиме.

– Mais... comment<sup>98</sup> быть не может?! Говорят, будто есть особы, которые читали даже письмо ее к своей матери, и предерзкое, пренепочтительное письмо! Pauvre mere! elle est bien malade pour le moment!<sup>99</sup> \* Это ее убило!

– Кого же обвиняют в этом? – спросил Шадурский.

<sup>93</sup> Очень хорошо! (нем.)

<sup>94</sup> Очень хорошо... но пришлите только карету к другому (фр.).

<sup>95</sup> Другой (фр.).

<sup>96</sup> Большая новость! (фр.)

<sup>97</sup> Молодая княжна Чечевинская... (фр.)

<sup>98</sup> Но... Как (фр.).

<sup>99</sup> Бедная мать! она серьезно заболела от этого! (фр.)

– Voila une question!<sup>100</sup> Конечно, княжну! Помилуйте! Ведь это кладет пятно не только на семейство, mais... meme sur toute la noblesse!<sup>101102</sup> Это... это une femme tout-a-fait perdue! \*\*\* О ней иначе и не говорят, как с презрением; с ней никто более не знаком, ее принимать не станут!..

– Oui, si cela est vrai...<sup>103</sup> конечно, так и следует! – с пуристическим достоинством римской матроны проговорил Шадурский, трусивший в душе от всех этих слухов и убежденный в эту минуту, что действительно так следует. – Et qui suppose-t-on etre son amant?<sup>104</sup> \* – спросил он.

– Вот в том-то и загадка, что не знают. Во всяком случае, это – подлец! – заключил благородный сплетник.

– О, без сомнения! – подтвердил Шадурский. А сердчишко его снова сжалось и екнуло при этом роковом слове.

– Но у нее есть брат; он, вероятно, разыщет. C'est une affaire d'honneur<sup>105</sup>, – продолжал сплетник.

– Что же, дуэль?

– Или дуэль, или пощечина!

Шадурский даже побледнел немного, несмотря на свое образцовое умение и привычку владеть собою и скрывать свои настоящие чувства.

– Du reste adieu!<sup>106</sup> Мне в Караванную! Еду к баронессе Дункельт – узнать, что там говорят об этом, – заключил сплетник и, послав Шадурскому еще один воздушный поцелуй, скрылся за поворотом на Караванную улицу.

– Пошел домой! – закричал между тем этот своему кучеру.

Кучер, получивший за пять минут перед тем приказание ехать в Свечной переулок, остался очень изумлен столь неожиданным поворотом дела и, не вполне на сей раз доверяя своему слуху, обратился вопросительную мину к своему патрону.

– Пошел домой, говорю тебе, скотина! – закричал этот последний, вероятно торопясь сорвать на кучере бессильный гнев свой за слово «подлец», произнесенное сплетником.

Возница тотчас же повернул лошадей в обратную сторону.

«Вот так-то лучше будет», – подумал Шадурский, и через несколько минут коляска остановилась перед подъездом его собственного дома.

– Можешь откладывать: я больше никуда не поеду сегодня! – обратился он к кучеру, и скрылся в дверях не без внутреннего удовольствия за счастливую встречу и за все предыдущее поведение с княжною, которое отклоняло всякое подозрение от его ничем не запятнанной личности.

---

<sup>100</sup> Вот вопрос! (фр.)

<sup>101</sup> Но... даже на все дворянство! (фр.)

<sup>102</sup> Совершенно погибшая женщина! (фр.)

<sup>103</sup> Да, если это правда... (фр.)

<sup>104</sup> И кого считают ее любовником? (фр.)

<sup>105</sup> Это дело чести. (фр.)

<sup>106</sup> Впрочем, прощайте! (фр.)

## XVII ДВЕ ПОЩЕЧИНЫ

Шадурский прямо прошел на половину жены. Он хотел сообщить ей, что участь подкидыша обеспечена, полагая в то же время найти у нее своего управляющего, г.Морденко, который ежедневно являлся с отчетами и докладами – утром, в девять часов, к князю, а в первом или в начале второго – к самой княгине. Она с некоторого времени вообще стала интересоваться делами. Шадурский намеревался взять у Морденко десять тысяч, обещанные им генералыше.

Быстрыми и неслышными в мягких коврах шагами подошел он к дверям будуара, распахнул одну половину и вдруг окаменел на минуту, пораженный странным и неожиданным дивом.

Супруга его лежала в объятиях г.Морденко.

Князь, не двигаясь с места и не спуская с них холодного взора, в котором тускло засвечивалось какое-то ледяное бешенство, стал натягивать и застегивать на пуговку свою палевую перчатку, которую, подходя к будуару, уже стянул было до половины руки.

Княгиня, пораженная еще более, чем муж, в первую минуту дрожала всем телом, прикинув к диванной подушке и закрыв лицо своими бледными тонкими руками. Морденко, ошалелый и немой от страха, глядел во все глаза на это, по-видимому хладнокровное, застегивание перчатки, тогда как рука его машинально и неудачно искала на краю стола принесенные к докладу бумаги. Это был высокий, несколько сутуловатый и сангвинически худошавый мужчина лет сорока, породистый брюнет, с бронзово-бледным, энергическим лицом и глубокими темно-кариими глазами.

Застегнув, наконец, свою пуговку, князь подошел к нему медленными шагами и с размаху дал сильную и звонкую пощечину.

– Вон, животное!.. – тихо прошипел он, скрежеща зубами. – Сегодня же сдать все дела, и чтобы к вечеру духу твоего тут не было!.. Вон!

Уничтоженный, убитый и перетрусивший Морденко отыскал, наконец, свои бумаги, почтительно согнулся и на цыпочках вышел из будуара.

Князь затворил за ним двери.

– Хоть бы это-то из предосторожности сделать догадались! – укоризненно посоветовал он, кидая на жену убийственно-презрительный взгляд.

Княгиня начала уже истерически, но сдержанно и глухо рыдать, не отрываясь от своей подушки.

– С кем?! с хамом... с холуем... с лакеем!.. И это – русская аристократка! – шипел он задыхающимся голосом.

На этих словах, видно уж чересчур задетая за живое, княгиня словно очнулась и, стремительно вскочив со своего дивана, ринулась к мужу.

– Tu vois par là, miserable, ce que tu as fait de ta femme! Tu es un lache!!<sup>107</sup> – злобно прорыдала она, с наглым трагизмом потрясая руками своими в самом кратчайшем расстоянии от физиономии князя. Это была единственная и как будто оправдательная мысль, на какую только могла она теперь найтись.

Тому это показалось уж чересчур отвратительно. Он позабыл себя от бешенства, и вдруг, в ответ на укоризненное восклицание княгини, раздался хлесткий звук новой пощечины.

Княгиня взвизгнула и навзничь грохнулась на пол...

---

<sup>107</sup> Ты видишь теперь, несчастный, что ты сделал со своей женой! Ты подлец! (фр.)

Шадурский с минуту постоял над нею, молча и холодно глядя на ее рыдания, и тихо вышел из будуара.

Он уже успел овладеть собою.

– Сними с меня эту перчатку! – спокойно и твердо сказал он лакею, войдя в кабинет.

Тот аккуратно исполнил это экстраординарное приказание.

– Брось ее в огонь! – сказал он еще более равнодушным тоном – и лайка тотчас же затлелась в пламени камина.

Князь чувствовал, что он «разыграл хорошо», что он должен быть необыкновенно эффектен и величествен в эту минуту.

Жалкий человечешко!.. он рисовался перед самим собою своим quasi-<sup>108</sup> байроническим демонизмом.

---

<sup>108</sup> Якобы, ложным (лат.).

## XVIII

### КНЯЗЬ И КНЯГИНЯ ШАДУРСКИЕ

Князь Дмитрий Платонович Шадурский и супруга его, княгиня Татьяна Львовна, были уже шестой год женаты. Супружество их могло назваться вполне приличным супружеством. В официальных случаях, когда того требовали обстоятельства, они являлись в свет вместе, или принимали у себя, соблюдая с верным тактом и с самой безукоризненной полнотою все условия, каких требовали этикет и понятия той жизни, в замкнутом кругу которой они вращались. Князь всецело представлялся солидно-вежливым почтительным мужем; княгиня – уважающей своего мужа супругой. Никогда ни малейшего косого взгляда или слова, которые, вырываясь иногда почти невольно из надсаженного сердца, могли бы хоть как-нибудь, хоть чуть заметно обнаружить их истинные чувства! Друг о друге они относились всегда не иначе, как с полным уважением, – с уважением, заметьте, но не с любовью: настолько они имели ума и такта, чтобы не «изъявлять» любви своей. Да, впрочем, любви-то никакой у них и не было. Взамен ее было уважение к внешнему супруеству: князь уважал жену потому, что она носила его имя; княгиня, не уважая князя, уважала самое имя, которое отнюдь не позволила бы себе скомпрометировать перед «светом». Свет – это фиктивное понятие, между прочим, является чрезвычайно странным в представлении большинства женщин, принадлежащих к нему: они считают светом тот замкнутый круг общества, который организовался здесь, на месте, в Петербурге или в Москве. Авторитет и сила этого света действительны и могучи только на месте. От этого очень часто происходит то, что целомудренные Дианы в Петербурге – перерождаются в шаловливых Киприды в Париже; но, по возвращении, непременно делаются опять целомудренными Дианами – по крайней мере по внешности представляют себя таковыми своему свету.

О княгине пытались кое-что сплетничать, но это были сплетни глухие, темные, не имевшие никакого действительного основания, – и потому им не давали ходу, о них не думали, на них не обращали особенного внимания, считая их только сплетнями, и, наконец, скоро забывали. Сама же княгиня Татьяна Львовна своим внешним поведением не подавала к ним ни малейшего повода: она никого не отличала, никому не давала предпочтения – напротив, была решительно со всеми равна и любезна. Поэтому ей никого не могли исключительно приписать в любовники. У князя Дмитрия Платоновича были кое-какие грешки и по части актрис и по части Диан; но и те и другие, как человек солидный и опытный, он умел окутывать должно-приличным флером. О его грешках иногда интимно поговаривали в том тоне, который мог только приятно щекотать его ловеласовское самолюбие, и никогда никто не заикался в тоне оскорбительном или компрометирующем. На эти грешки смотрели как на легкие и милые шалости, которые за кем же из мужчин не водятся! Главное дело в том, что все формы внешнего приличия отменно были соблюдаемы этою четою, вся внутренняя, домашняя сторона медали отменно скрывалась ими от посторонних глаз, и потому их все уважали, все были довольны, и они сами также были довольны своею внешнею, показною стороною.

Князю Шадурскому пошел уже тридцать восьмой год, княгине – двадцать пятый. Он женился сильно уже поистраченный и поистертый заграничной жизнью; она вышла за него с силами еще довольно свежими; только румянец начинал немножко блекнуть от бессонных ночей, которые она проводила на балах, танцуя до упаду. Татьяна Львовна более всего на свете любила балы и танцы. Князь был хорош собою, и она могла назваться красавицей. Оба были блондины: князь – более с рыжеватым отливом, княгиня – с оттенком пепельным. Он свою блазированную физиономию очень успешно старался устроить на английский покрой; физиономия княгини, когда она была девушкой, напоминала эфирного, непорочного ангела, а когда сделалась дамой – выражение невинности сменилось характером гордой и недоступной Дианы. И то и другое было вполне прекрасно. Она в раннем детстве была увезена за границу, нарочно



для того, чтобы там воспитываться, и возвратилась оттуда восемнадцати лет, ни слова не разумея по-русски, так что когда выходила замуж, то должна была скопировать русскую подпись своего имени для внесения в церковную книгу. Все знания ее в русском языке простирались только до двух-трех молитв, смысла которых она не понимала, а тараторила вдолбежку, как попугай ученый. Впрочем, знала еще слова: *caracho*, *sirastouy* и *kacha*<sup>109</sup>. Когда во время венчания поп спросил ее обычно-формальной фразой: «Не обещалась ли еси другому?» – то Татьяна Львовна так странно и бессмысленно поглядела на него, что шафер поспешил ей подшепнуть на ухо: «Нет», и невеста, долго не могшая совладать с этим односложным звуком, наконец, с большим усилием выговорила: «Niet-te»<sup>110</sup> \*. Однако в три года она довольно порядочно выучилась этому варварскому языку и выражалась на нем с книжной отчетливостью в звукопроизношении, как истая иностранка, которая по книгам выучилась говорить по-русски. Впрочем, с годами княгиня делала все более и более успехов.

С первого появления своего в свете, тотчас по приезде из Италии, она произвела необыкновенный фурор, бывши сразу же всеми замеченной и оцененной по достоинству. Многие матушки смотрели на нее с завистью, юные и девственные их дочери – с завистью еще большей: первые боялись за отбой женихов, вторые ненавидели опасную и первенствующую соперницу. Молодые дамы приняли ее под свое милостивое покровительство, впрочем, до тех пор, пока она оставалась девушкой. С выходом замуж роли переменились: матушки сделались равнодушны, дочери преданны, а сверстницы-дамы преисполнились дружественной злобой и завистью. Молодые люди, из которых десятка два, если не больше, были влюблены в нее без памяти, все без исключения остались ее поклонниками, как до свадьбы, так и после свадьбы, если даже не усилили свое поклонничество после этого обстоятельства. Почтенные старички, старцы и старикашки не менее молодых людей изъявляли Татьяне Львовне свое благоволение, а с тех пор, как она надела на себя чепец, очень любили разговаривать с нею о предметах немного игривых, причем масляно улыбались и даже облизывались. Татьяна Львовна, с своей стороны, относилась весьма благосклонно к этим невинным обожателям и также любила разговаривать с ними об игривых предметах. Это было единственное преимущество старцев перед молодежью.

Сердце Татьяны Львовны, по приезде в Россию, пребывало свободным и ничем не заинтересованным: она оставила его в Милане одному молодому итальянскому графу – по крайней мере ей самой так казалось. Из соотечественников влюбленных и невлюбленных никто не удостоился чести быть замеченным ею. Князь Шадурский, однако, не был влюблен, даже и увлечен-то не был нисколько, а женился так себе, почти ради того, чтобы насолить благоприятелю. Татьяну Львовну любил до безумия один флигель-адъютант, лучший представитель военного дендизма того времени, молодой, красивый, пылкий, отличный и ловкий вальсёр, недурной каламбурист, добрый товарищ и любимец весьма многих особ прекрасного пола. К сожалению, при довольно круглом состоянии, он был человек без громкого титула, а просто старый дворянин, и, вдобавок еще, с вульгарной, плебейской фамилией – Еремеев. Несмотря, однако, на незвучную, беститульную фамилию, он благодаря своим внешним блистательным качествам с гордым достоинством и честью носил титул великосветского льва. Военная молодежь решительно ставила Еремеева для себя образцовым и почти недостижимым идеалом, учась у него носить аксельбанты и перенимая изящные манеры, вместе с изящным покроем сюртуков. Если *m-sieur* Еремеев был лев военный, то князь Шадурский вполне имел право считать себя львом гражданским. Поэтому последний ненавидел в душе своего соперника и, дружески пожимая ему руку, мысленно посылал его ко всем чертям в преисподнюю, не упуская ни малейшего случая насолить и напакостить доброму приятелю. Видя, что Еремеев страстно влюблен в Татьяну Львовну и, того гляди, сделает ей предложение, Шадурский решился перегородить ему дорогу.

<sup>109</sup> Хорошо, здравствуй и каша.

<sup>110</sup> «Нет».

Достав себе, за два бала вперед, мазурку молодой красавицы, он успел своим напускным байронизмом и оригинальничаньем блестящей болтовни остановить на себе несколько ее внимание. Затем – в остальную половину мазурки – с десятков ловких, метких и довольно ядовитых фраз насчет Еремеева, брошенных мимоходом, успели на минуту сделать последнего смешным в глазах Татьяны Львовны, так что, когда он, после ужина, явился ангажировать ее на турвальса, – Татьяна Львовна, поймавшая в этот самый миг тонко-иронический взгляд Шадурского, отказала m-sieur Еремееву. Засим, дня через четыре, в мазурке же, князь сделал ей предложение, и... она обещалась подумать.

Это чистое эфирное создание, этот неземной, обаятельно-идеальный ангел на деле был весьма практически расчетлив. Ангел сообразил, что, во-первых, надо же выйти замуж, чтобы пользоваться свободой независимого положения, а во-вторых – через родителей и посторонних, не светских людей навел некоторые необходимые справки, по которым оказалось, что состояние Шадурского гораздо круглее состояния еремеевского, и, в-третьих, наконец, несравненно привлекательнее быть княгиней Шадурской, чем m-me Еремеевой. Два последние обстоятельства решили выбор Татьяны Львовны – и через два с половиной месяца хор конюшенных певчих гремел ей «Гряди, голубице».

Еремеев не дождался этого хора: он как только узнал о помолвке, так тотчас же перечислился в армию и через неделю уехал на Кавказ.

Шадурский торжествовал и весь сезон был необыкновенно доволен собою. Да и было чем: во-первых, победил Еремеева и в лице его всю влюбленную великосветскую молодежь, а во-вторых – сделался мужем и обладателем прелестнейшей и блистательнейшей женщины, которой все удивлялись, сходили с ума, завидовали и о красоте которой говорил целый город. Какова пища для его чуткого самолюбия!

Не далее, однако, как через полгода обнаружилась обоюдная холодность молодых супругов, и они же сами первые заметили это. Ну, и ничего: заметили и разошлись, каждый в свою сторону, как кому было удобнее, определив, впрочем, раз навсегда свои условные отношения перед глазами света, о чем мы уже сказали несколько выше.

Князь Дмитрий Платонович жуировал по сторонам, под известным только флером приличия и скромности, и не обращал решительно никакого внимания на жену свою как на женщину. Это ее сначала бесило. Она чувствовала, что хороша собою и молода и богата страстною жаждой жизни, любви, наслаждения, и между тем остается одна, и все одна, без всякого удовлетворения этому избытку молодой своей силы. Ей было горько, тяжело, она плакала, и не раз таки вспоминала вульгарную фамилию так романически влюбленного в нее Еремеева. Вскоре у нее родился сын – князь Владимир Шадурский, но это обстоятельство нимало не возвратило к ней сердце мужа и только самое ее развлекло на некоторое время, чтобы через несколько месяцев потом дать еще больший простор тоске и скуке и этой неудовлетворенной жажде переживать свои юные силы. Более четырех лет длились скрытые страдания молодой, покинутой мужем женщины. Тщеславие Шадурского было вполне удовлетворено женитьбой, – чего еще требовать от него? Любви? Но разве мог он дать то, чего у него никогда и не бывало? Достаточно и того, что он позволил себе увлечься на некоторое время. Маленькая ревность и маленькие сцены, которые выводила ему сначала супруга, сделали только то, что она ему окончательно надоела. А он к тому же еще так любил напускать на себя чувство неудовлетворенности, так любил показывать, что ему все надоедает в жизни, что все находит он пошлым и ни к чему привязаться надолго не может. Найти себе «друга» весьма легко могла бы княгиня среди окружающей ее и всегда готовой на «дружбу» молодежи; но тут-то искать не хотела Татьяна Львовна. Она знала, что все друзья этого рода на язык невозддержанны и на самолюбие отчасти щеголевато-хвастливы; что при случае, после нескольких бутылок вина в приятельской беседе, ни за

одного из них, пожалуй, нельзя бы было поручиться, что он вдруг, *par hasard*<sup>111</sup>, не скомпрометирует как-нибудь имя тайной дамы своего сердца. А княгиня пуще всего дорожила своим именем. Она, наконец, обратила внимание на мужнину, управляющего, г.Морденко. Энергически красивый плебей (он был из вольноотпущенных отца Шадурского) занял прочное место в сердце княгини. Темный, никому не известный человек, ничтожный управляющий, он поневоле должен быть скромн; лета его давно перешли тот возраст, когда человек любит болтать о своих победах, – значит, похвастаться своими отношениями ему негде и некому, да и небезопасно в рассуждении управительского места. По всем этим соображениям княгиня нашла, что его можно приблизить к себе, – и Морденко всегда оставался глубоко почтителен с нею. Как умный хохол и как человек, прежде всего зашибающий копейку, он понимал, что положение его и очень выгодно, и вместе с тем очень шатко. Поэтому, будучи всегда беспрекословно покорен воле и желаниям своей патронессы, он был крайне осторожен, и одна только случайность – и то по вине самой княгини, слишком стремительно бросившейся к нему навстречу, – сделала возможным такое неожиданное и неприятное столкновение, какое произошло у них с князем Шадурским. Татьяна Львовна, переродившаяся по прошествии четырех лет совсем уже в практическую, ловкую и опытную барыню, умела хорошо скрывать свои отношения, которые особенно укрепились во время отсутствия мужа в деревню. Некоторые услужливые руки из деревенской дворни нашли не лишним сообщить матушке барыне-княгине о грехе или – что то же – о «байронически-сельском» романе ее мужа. Таким образом Татьяна Львовна знала про связь супруга своего с княжной Чечевинскою, тогда как этот последний и не догадывался об отношениях ее к г.Морденко, и только тогда убедился в существовании какой-то связи, когда увидел уже несомненные признаки беременности своей жены. Но... он мог представить себе все что угодно, только не г.Морденко!

Татьяне Львовне пошел между тем восьмой месяц; однако положение ее было заметно только трем человекам: Морденке, камеристке мамзель Фанни и князю Дмитрию Платоновичу Шадурскому.

---

<sup>111</sup> Случайно (фр.).

## XIX

### НЕОЖИДАННОЕ И НЕ СОВСЕМ ПРИЯТНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ВТОРОЙ ПОЩЕЧИНЫ

Приняв дела от Морденки, причем во время сдачи разговоры ограничивались только самыми необходимыми деловыми фразами, князь Шадурский мрачно ходил по своему кабинету и с досады беспощадно грыз свои прекрасно обточенные розовые ногти. Стыд, презрение, злоба и ревность одновременно сосали теперь его сердце. Целый день он не выходил из кабинета и даже обедать не садился. Однако подкидыша не забыл отправить в карете, со всеми достоподобными инструкциями, к генеральше фон Шпильце.

Был уже час одиннадцатый вечера, когда в кабинет вошел лакей и объявил Шадурскому, что княгиня изволят просить их пожаловать к себе.

– Хорошо... пошел вон! – проговорил князь и направился было к дверям, но вдруг подумал и вернулся назад.

Через четверть часа – новый посланный, который получает тот же ответ. Но Дмитрий Платонович на сей раз уже не направляется к дверям, а продолжает себе из угла в угол шагать по комнате. Он твердо решил не сдаваться ни на мольбы, ни на убеждения, и потому положил не ходить к супруге. «Все кончено между мной и этой женщиной! и только для света мы – муж и жена!» – мысленно решил он сам с собою, не без наслаждения предаваясь рисовке мрачного трагизма. Прошло еще минут десять – и на пороге кабинета, из-за тяжелой портьеры, показалась сама княгиня. Бледная, больная, с покраснелыми и припухшими от слез глазами, нетвердо вошла она, шатаясь, в комнату и в изнеможении опустилась на кресло.

– Что вам угодно? – сухо, но вежливо спросил князь.

– Я очень дурно себя чувствую, – с усилием проговорила Татьяна Львовна.

– Тем хуже для вас! – ядовито улыбнулся он.

– И для вас столько же: я чувствую, что должна буду выкинуть.

Шадурский опешил.

– Как!.. но это невозможно!.. – бормотал он, совсем растерявшись от этого нового сюрприза.

Княгиня тоже улыбнулась на сказанную им глупость.

– Я чувствую, говорю вам! – подтвердила она. – Я пришла спросить: угодно вам, чтоб это все здесь, у вас в доме произошло?

– Боже сохрани! Как можно в доме? – испугался Дмитрий Платонович.

– Так везите же меня куда-нибудь, – твердо и настойчиво порешила княгиня.

– Но как же это?.. куда?.. я, право, не знаю... – говорил он, в недоумении стоя перед женою.

– Вы, кажется, теряетесь еще больше меня! Стыдитесь! Мужчина! – с злобным презрением проговорила Татьяна Львовна.

Князь, действительно, во всех почти экстренных случаях жизни, если только они производили на него угрожающее или страшливое впечатление, мигом терял присутствие духа и из гордого аристократа Чайльд Гарольда становился мокрой курицей. Однако последнее замечание жены не шутя задело его за живое.

– Извольте, я готов; только куда прикажете? – спросил он, оправившись и даже встряхнувшись немного, почему немедленно же принял опять свой прежний сухой и вежливый тон.

– Куда прикажете! Понятное дело, к акушерке какой-нибудь! – пояснила жена, начинавшая уже терять терпение.

Князь вспомнил о Свечном переулке – и весь демонизм его тотчас же возвратился к своему хозяину. По правде-то сказать, впрочем, он и не знал, куда б иначе кинуться, если бы не Свечной переулком. Бегать по городу и отыскивать самому, ночью, какую-нибудь акушерку было бы более чем неудобно, да и рискованно в отношении времени для больной. И потому тут ничего уже больше не оставалось делать, как только остановиться на Свечном переулке, давши затем полную волю разыгрываться своему демонизму.

«В довершение всего только этого недоставало! – Думал он, пуская на губы мефистофельски-ироническую улыбку. – Недоставало только свести этих двух женщин под одну кровлю... и где же?... в каком месте?... Вот случай-то с его игрою!.. Вот она где, настоящая-то ирония судьбы!» – заключил он мысленно, и с той же улыбкой прибавил вслух:

– Извольте идти одеваться – через десять минут карета будет готова.

Княгиня поблагодарила наклоном головы и холодно вышла из кабинета. Она вполне поняла сего Чайльд Гарольда и потому презирала его. Впрочем, и Чайльд Гарольд не оставался в долгу: он тоже презирал супругу за г.Морденко.

А что, если бы на месте этого г.Морденко был кто-нибудь другой, вроде титулованного камер-юнкера или флигель-адъютанта? Ведь князь, пожалуй что, и не презирал бы тогда свою супругу?

Даже наверное не презирал бы, осмелимся уверить мы сомневающегося читателя.

\* \* \*

– Есть у вас свободная комната? – Я привез больную, – вполголоса и почти шепотом говорил князь востроносенькой немецкой женщине в белом чепце, боясь, чтобы голос его не услышала как-нибудь княжна Анна. Демонизм и игра в герои все-таки не мешали ему потрухивать неприятного столкновения.

Удобная запасная комната отыскалась тотчас же на противоположном конце от той, которую занимала княжна Чечевинская. Князь высадил из кареты жену свою и под руку ввел ее в предназначенную горницу.

– Бога ради, только поскорей! Употребите все зависящие от вас средства, чтобы это скорее кончилось! – шепотом упрашивал он востроносенькую немку, и, осторожно выйдя в смежную комнату, закурил сигару и преспокойно уселся на диван дожидаться финала всей этой истории.

Прошло часа три. Князь починал уже третью сигару. У него было очень скверно на душе, ибо там боролось чувство оскорбленного самолюбия (в самом деле, неприятно мужу находиться в подобном положении у акушерки) и чувство страха за возможность столкновения с княжной, боязнь, чтобы все это как-нибудь не раскрылось, не было узвано в свете, боязнь титула почтенного рогоносца, – словом, князю было очень нехорошо. Его по временам била дрожь нервной лихорадки, в особенности когда страдальческие вопли жены становились громче и, стало быть, слышнее в других комнатах серенького домика. Мимо него раза два прошмыгнула востроносенькая немка и раз пять ее помощница. При каждом скрипе отворявшейся двери Шадурский вздрагивал и, весь обданный жаром, тревожно вскидывал глаза на роковую дверь. Немка мимоходом бормотала ему что-нибудь успокоительное, и Шадурский, по уходе ее, повергался в прежнее состояние внутренней борьбы вышеозначенных чувств, боязней и соображений, до нового неожиданного стука дверной ручки. Утомленный всеми этими ощущениями, он уже впадал в легкое забытие. Окружающая обстановка комнаты с немецкими литографиями в рамках, стоны жены, воспоминание всего случившегося в этот день, княжна, Морденко, акушерка, фон Шпильце, подкидыш – все это мешалось между собою и сливалось в какие-то отрывочные, мутно неопределенные образы; пальцы его уже слабели, бессознательно еще кое-как удерживая потухшую сигару; нервно-нойное, болезненное чувство под ложечкой

тоже смирялось и затихало, подобно больному зубу перед усыплением – как вдруг скрипнула дверь...

Князя будто кольнуло что: он вздрогнул, очнулся и поднял глаза.

На пороге стояла княжна Анна. Колебавшееся пламя свечи, которую держала она, кидало неровный отсвет на ее бледное, встревоженное лицо. Сквозь ночной белый шлафрок видно было, как дрожали ее руки, как тревожно волновалась грудь. Она увидела князя, – и, боже мой, чего только нельзя было прочесть на этом любящем, страдающем лице в одно только мгновение! Тут было и удивление, и безотчетный порыв к нему, и страх, и надежда, и гордое чувство матери, и радость свидания, и горький упрек за невнимание, за равнодушие – много и сильно говорило это лицо, эти глаза, эта улыбка.

– Дмитрий... бога в тебе нет! Можно ли так забыть, оставить меня!.. Дмитрий!.. Милый, ненаглядный... Ты видел ее... видел... нашу девочку, дочку нашу? – лепетала она обрывавшимся от волнения голосом, кинувшись к князю и, как слепая, трогая, ощупывая его руками, словно бы хотела убедиться – точно ли это он стоит перед нею?

Князь, бессознательно вскочивший с места при ее появлении, как провинившийся школьник, стоял неподвижно – смущенный, озадаченный, растерянный до последней крайности. Он не мог собраться с мыслями, не мог сказать ни одного слова. А тут еще из соседней комнаты обличающие стоны жены раздаются. Он струсил и искренне желал провалиться сквозь землю.

– Что ж ты не приезжал ко мне?.. Ведь я одна, совсем одна, пойми ты это!.. Я ведь измучилась, ждавши тебя, – продолжала лепетать больная, не замечая, от наплыва своих ощущений, этого неподвижного смущения и холодности князя. – Мне так хотелось видеть тебя, взглянуть бы только на тебя, слово услышать – ведь мне тяжело, невыносимо... я, как в лесу, ничего тут не знаю... А ты – хорош, и не едешь и слова не напишешь!.. Ну, да я не сержусь теперь... я не сержусь... Я люблю тебя... Я – мать. Ну, обними, ну, поцелуй свою Анну!.. целуй меня – теперь ведь мы одни с тобой. Да что же ты стоишь? Что это с тобою? Дмитрий, что с тобою?.. – отшатнулась она через минуту, с изумлением вглядываясь в смущенную фигуру опешившего князя, ни одним словом, ни одним взглядом и движением не ответившего сочувственно на ее беззаветно-искренний порыв.

– Княжна... извините... я не один, я не один... Уйдите... нас могут увидеть... уйдите, княжна... – бормотал он, кое-как собравшись с силами. Слова дрожали, путались на его языке.

– Княжна... уйдите... Да что это с тобою, Дмитрий, что это за слова ты говоришь?.. Господь с тобою, опомнись!.. – еще порывистее отшатнулась Анна, глядя во все глаза на Шадурского.

– Уходите же, бога ради, я вас прошу!.. – настаивал между тем тот, стараясь отвести от себя ее протянутые руки... – Вы забываетесь... нас увидят... что могут подумать?..

Перетрусивший Чайльд Гарольд говорил уже окончательные глупости, которые какими-то проблесками мелькали у него в голове и сами собою, бессознательно как-то, подвертывались на язык.

– Так это-то твой привет матери твоего ребенка? – проговорила она, по-видимому, спокойно, однако, в сущности, с колюче-горьким чувством в душе.

– Я не один... я не один здесь, – повторял князь, со страхом озираясь на дверь, из которой каждую минуту могла появиться акушерка.

– А! ты не один здесь?.. Да, я слышала!.. я по голосу узнала ее... по этим крикам догадалась, что это – ваша жена, – говорила княжна все тем же наружно-ровным и спокойным голосом.

У князя все лицо передернуло, словно от внезапной ожоги. Этого-то только он и боялся... «Черт возьми, узнала!.. Стало быть, не скроется... стало быть, узнают все!» – мелькало у него

в голове – и это мелькание прожигало мозг, вызывало краску стыда и хватало за сердце. Паче всего князь страшился, чтобы не пронюхали как-нибудь скандала с его законной супругой.

– Стало быть, кончено. Все кончено между нами. Покорно благодарю, что вы наконец-то раскрыли мне глаза... Жаль, что поздно немного... Ну, да все равно! Теперь я хочу знать, где мой ребенок, что сделали вы с моим ребенком? – спрашивала княжна уже строгим и холодным тоном.

– Завтра... завтра все узнаете... завтра я напишу... заеду... только уйдите, умоляю вас!.. Уйдите же! – почти крикнул он, выведенный наконец из себя своим отчаянным положением. Он боялся также, чтобы немка не застала его вместе с княжной и чтобы через это не открылся настоящий виновник беременности этой девушки.

Княжна холодной и презрительно-сострадательной улыбкой встретила его отчаянную выходку.

– Вы очень боитесь моей встречи с княгиней Шадурской? – не без иронии спросила она. – Извольте. Я вас избавлю от нее. Можете быть покойны: того, что происходит с нею в той комнате, через меня никто не узнает: я честнее вас.

Анна направилась к двери. Шадурский на цыпочках шел за нею, стараясь выпроводить поскорее неприятную гостью. В коридоре, куда вышел вместе с княжной, притворив за собой дверь, он почувствовал некоторое радостное спокойствие: «Наконец-то, слава тебе, господи, счастливо отделался, и кажись – навсегда». Тут уже, видя, что главная беда почти миновала, ему вдруг захотелось немножко порисоваться с романической стороны, хоть чем-нибудь скорчить из себя порядочного человека, хоть как-нибудь сгладить гнусное впечатление последней сцены.

– Прости... прости меня, Анна! – нарочно поглуше и подраматичнее прошептал он, стараясь схватить руку девушки.

Она увернулась от князя и отвела его руку.

– Бог с тобой, Дмитрий! – прорвалось у нее рыданье. – Я твоего зла не хочу помнить... Только дочку... Бога ради, дочку мне!

И с этими словами она скрылась за дверью своей комнаты.

Час спустя все уже было кончено.

Княгиня разрешилась мальчиком. Ребенок, несмотря на преждевременное появление свое на свет, был жив и даже здоров.

Шадурский сунул сторублевую ассигнацию в руку немки, бережно укутал в шаль и салоп свою супругу и почти на руках снес ее в карету, к вящему изумлению акушерки, которая, глядя на все это, только ахала да чепчиком своим из стороны в сторону покачивала.

Ребенок остался у нее на воспитание. Больная, по-видимому, была спокойна и молча сидела, откинувшись в угол кареты.

– Вы никогда больше не увидите вашего ребенка, – холодно и внятно проговорил наконец Шадурский, стараясь сделать голос свой тверже и металлически. Он и тут рисовался.

– Но где же этот несчастный ребенок будет находиться, по крайней мере? – слабо спросила больная.

– Этого вы также никогда не узнаете! – порешил Дмитрий Платонович.

– Но это бесчеловечно!

– Совершенно согласен с вашим мнением...

– Наконец, это гнусно – шутить таким образом!

– Не гнуснее вашего поступка! – с улыбочкой в голосе возразил Шадурский. – Впрочем, все, что я могу сказать вам, – прибавил он минуту спустя, – так это то, что вы были у той самой акушерки и под тою самою кровлею, где находится теперь княжна Чечевинская. Таким образом – вы совершенно сравнились с этой женщиной. Впрочем, нет! Виноват, вы хуже ее!

вы – любовница лакея! – заключил он с ядовитою желчностью и, после этого, во всю остальную дорогу не проронил более ни одного уже слова.



## XX АРЕОПАГ НЕПОГРЕШИМЫХ

Через десять дней после этого происшествия княгиня Татьяна Львовна чувствовала себя уже настолько хорошо, что могла в постели принимать визиты добрых своих приятельниц, являвшихся к ней осведомиться о здоровье.

Для света княгиня была больна какой-то febris<sup>112</sup> или чем-то вроде застужения, воспаления и т.п., – словом, одною из тех болезней, которыми всегда удобно можно прикрываться.

Около ее постели сидели m-me Шипонина со старшей грацией, сорокалетней девою, баронесса Дункельт и еще два-три дипломата в юбках – особы все веские, досточтимые, авторитетные и вообще очень компетентные в делах мира сего.

Князь Дмитрий Платонович, все время не говоривший с женою, только из приличия отправлял к ней ежедневно своего камердинера осведомляться о здоровье. Теперь же он в первый раз нашел нужным прийти к ней лично – потому, нельзя же: княгиня уже принимала своих приятельниц.

– Как вы чувствуете себя нынче? – спросил он, вежливо целуя ее руку и с видом участия – в той, однако, дозе, насколько это было нужно и прилично.

– Сегодня мне гораздо лучше, – мило ответила княгиня, и мило опять-таки настолько, насколько могло это быть допущено в приличном супружестве.

– Пароксизм не возобновлялся? – с заботливым участием продолжал Шадурский.

– Благодаря бога, нет... Садитесь и слушайте, – предложила ему супруга, указывая на кресло у своих ног. – Мне сообщают чрезвычайно интересные новости.

– Ах, да, да! это ужасно, это невообразимо! – говорил ареопаг компетентных судей. – Мы говорили о скандале...

– Да! скажите, пожалуйста, что это такое? – любопытно подхватил Шадурский. – Я слышал кое-что, но, признаюсь, никак не могу поверить.

– Можете не только верить, но даже веровать, как в истину, – докторальным тоном заметил один из дипломатов в юбке.

– Неужели же правда? – воскликнул Шадурский, растягивая в знак удивления свою физиономию, которая так и блистала в это мгновение могучим чувством непогрешимого достоинства.

– К стыду и к несчастью – правда! – отчетливо сказала Шипонина, печально покачав головой. – Я сама видела несчастную мать, сама читала письмо.

Замечательно, что сей достопочтенный ареопаг, говоря о скандале, не только не объяснил, в чем он заключается, но даже в разговоре между собою избегал самого слова «скандал», заменяя его безличными местоимениями то и это. Может быть, «ужасность» самого «проступка», а может, и присутствие сорокалетней девственницы связывали ареопагу органы болтливости.

– Подобной безнравственности никогда еще не бывало в нашем обществе! – горячо разглагольствовала баронесса Дункельт, считавшая десятками своих любовников и в том числе присутствующего князя, который тоже во время оно отдал ей должную дань.

– Неужели после этого кто-нибудь согласится принять ее? – вопрошал один из дипломатов.

– Я надеюсь, что ни одна порядочная женщина не позволит себе этого! – решительным и авторитетным тоном проговорила княгиня Шадурская. – По крайней мере, мой дом навсегда

---

<sup>112</sup> Лихорадка (лат.).

закрыт для нее, как и для каждой потерянной женщины. Я стыжусь, что была даже знакома с нею!

– Конечно, таких поступков прощать никогда не следует: они черным пятном ложатся на целое сословие! – с благородным негодованием заключил Дмитрий Платонович.

И все остальные вполне согласились с его справедливым мнением.

Таким образом, в силу безапелляционного приговора ареопага непогрешимых, княжна Анна Чечевинская была подвергнута вечному ostracismu.

## XXI ПРОБУЖДЕНИЕ

Получив письмо старой княгини, Анна поняла, что все ее связи со светом окончательно порваны. Но ничего, кроме полнейшего и равнодушного презрения, не шевельнулось в ее сердце при мысли об этом разрыве. Да и что ж кроме презрения могло там шевельнуться? Что дал ей этот свет, что нашла она в нем? Один только холод, ни капли искреннего слова, наконец гнусный, вероломный обман – и ничего более. Но в обман она еще не хотела поверить, она все еще старалась обманывать самое себя и ожидала свидания с князем. Но князь не приезжал. В достопамятную для княгини Шадурской ночь княжна, услышав из своей комнаты крики больной, как-то невольно, инстинктивно почувствовала, что это именно звук голоса Татьяны Львовны. «Он тоже должен быть здесь? Что все это значит?» – мелькало у нее в голове. Немка, между делом, вошла навестить и ее. Тут-то, по рассказу ее о внезапном ночном посещении и из ее описания «кавалера» и «дамы», приехавших к ней, княжна догадалась, что это именно были Шадурские. Последовавшая сцена уже известна читателю.

Между тем положение ее было весьма печально. Денег ни копейки, платья – только то, что было на себе; известий после письма матери – никаких, от Шадурского – тоже, и наконец Наташа, обещавшая заложить для нее кое-какие вещи, также пропала неизвестно куда. Последний раз она виделась с нею в утро перед получением письма, и затем словно в воду канула. Немку эти обстоятельства весьма сильно беспокоили, и только по доброте душевной она ничего пока еще не высказывала своей пациентке, что, однако же, не мешало той очень хорошо замечать и чувствовать все это. Она решилась наконец еще раз написать Шадурскому и заклинала его открыть ей, что случилось с их ребенком; но князь разорвал и сжег это письмо, вместе с предыдущим, дабы не оставлять никаких существенных доказательств своих отношений к ней.

Княжна мучилась и терзалась невыносимо. Эта неизвестность все больше и больше томила ее душу, наводя только мрачные мысли, которые не покидали ее ни на минуту. Она уже от всего отрешилась в своей прежней жизни, и даже от самой мысли о любовнике, в котором так долго не хотела разочароваться и которого наконец стала презирать; одно только привязывало ее к жизни – это жажда узнать, что случилось с ее ребенком, жажда увидеть его еще раз, вырвать из чужих рук и всецело отдаться безумной любви к своему младенцу, никогда, ни на минуту не выпускать его из своих объятий. Этот ребенок был для нее все – все ее богатство, все счастье – и радость и мука в одно и то же время. Жажда видеть свое дитя дошла в ней наконец до какого-то отчаяния, почти помешательства и породила наконец непреклонную решимость во что бы то ни стало добиться своей цели, которая вполне уже сделалась для нее единственной целью всей жизни.

Она написала письмо к самой княгине Шадурской. Это были не слова, а слезы наболевшей, истерзанной души. Она, ни слова не упомянув о Шадурском и о своих отношениях к нему, раскрыла только с полной откровенностью, что она мать подкинутого к ним ребенка, и умоляла сказать ей, где он и что с ним сделалось. Но ответа на это письмо не было. Княжна подождала, или, лучше сказать, всем существом своим протрпала тоской ожидания два дня – и все-таки ответа не было. Она написала к ней новое, еще отчаяннее первого, письмо, отправив его лично с востроносенькой немкой – и результат вышел все тот же.

Тогда княжна Анна оставила свой тайный приют. Она наконец совершенно пробудилась и вполне уже поняла, что такое тот свет и те люди, которые до сих пор ее окружали. Все связи с этой жизнью с той же минуты были окончательно порваны в ее сердце. В нем жило одно только чувство, одно стремление – во что бы то ни стало видеть и отнять своего ребенка, и с этой неотступной мыслью она впервые вышла за порог серенького домика в Свечном переулке.

## XXII ДЕТИ

Слова князя Шадурского о том, что жена его никогда не увидит и не будет знать своего новорожденного сына, были не что иное, как одна только эффектная фраза.

Г.Морденко написал княгине письмо, где извещал о новом своем адресе. Татьяна Львовна ответила тотчас же и, рассказав подробно всю последующую историю, приказала ему разведать под рукой, у кучера, в какую улицу ездил он с господами ночью. Таким образом адрес акушерки из Свечного переулка сделался известен и княгине и г.Морденке.

Муж просил ее готовиться к отъезду вместе с ним за границу, что должно было последовать недели через полторы. Княгиня тайком от него переслала Морденко довольно значительную сумму денег, с приказанием взять ребенка от акушерки и поместить его в хорошие руки. Генеральша фон Шпильце, с своей стороны, сделала то же самое.

В Средней Мещанской улице, «близ пожарного депо», жил некоторый «бедный, но честный майор» в отставке, «будучи обременен многочисленным семейством и женой, болезненным состоянием одержимой». Это, однако, нисколько не мешало ему брать «на воспитание» посторонних детей. «Бедный, но честный» майор назывался – Петр Кузьмич Спица.

На Петербургской стороне, в Гулярной улице, можно сказать, среди деревьев и злаков сельских, обитал в собственном домишке один из вечных титулярных советников и присяжных столоначальников, по фамилии Поветин. Жил он скромно, тихо и богобоязненно, вместе с женою, но без чад и домочадцев, в коих отказала им попечительная судьба.

К бедному, но честному майору был помещен, стараниями г.Морденко, сын княгини Шадурской, во святом крещении нареченный именем Иоанна Ветхопещерника и того же месяца прописанный в местное мещанское сословие под фамилией Вересова.

К титулярному советнику Петру Поветину, стараниями генеральши фон Шпильце, была отдана на воспитание дочь князя Шадурского, во святом крещении именем святыя Марии Магдалины нареченная и записанная в мещанское сословие под фамилией Поветиной, по восприемному отцу и воспитателю ее.

Пятилетний князь Владимир Шадурский приготавлился, со своим штатом нянек и гувернанток, к отъезду с родителями за границу, где предполагалось начать и кончить курс его воспитания и образования, которое должно было приготовить и дать русской земле русского гражданина.

## XXIII ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ДИАНА

Был холодный весенний вечер. Петербург изобилует ими. По небу ходили низкие и хмурые тучи; с моря дул порывистый, гнилой ветер и засевал лица прохожих мелко моросившею дождливою пылью. Над всем городом стояла и спала тоска неисходная. На улицах было темно и уныло от мглистого тумана. Фонарей, по весеннему положению, не полагалось.

Часов около восьми у подъезда дома князя Шадурского остановилась женщина, закутанная в большую шаль, с густым темным вуалем на лице, и робко дернула за ручку звонка.

– Мне необходимо надо видеть княгиню – отдайте ей эту записку, – сказала она отворившему ей швейцару и вслед за ним вошла на площадку парадной лестницы.

Княгиня прочла поданную ей записку и улыбнулась. В ней загорелось Евино любопытство и желание поглядеть, какова-то стала княжна Анна после всего случившегося с нею.

– Проси сюда эту женщину, – сказала она человеку и, подойдя к зеркалу, поправила на себе какую-то шемизетку, пригладила отделившуюся прядку волос и, повернувшись вполоборота, оглядела общий вид свой.

Сердце ее билось каким-то особенным самодовольным злорадством. Она даже почему-то была рада этому неожиданному посещению.

Через минуту робко, с замирающим сердцем вошла княжна Анна в будуар Шадурской и только тут, оставшись с ней наедине, подняла с лица свой черный вуаль. Это лицо было бледно, смертельно бледно; на черных ресницах глубоких прекрасных глаз искрились две крупных слезы; бледные и сухие губы чуть-чуть дрожали нервной дрожью. Стройная, высокая фигура ее, охваченная мягкими складками черной шали и платья, походила скорее на призрак, чем на живое существо. Она была грустно, тоскливо-прекрасна, как подсудимая, которая ожидала последнего своего приговора, долженствовавшего разрешить для нее роковое быть или не быть.

Княгиня Шадурская встретила ее вопросительной миной, не забыв предварительно устроить себе холодное и нравственно строгое лицо.

Княжна Анна молчала. Она была слишком смущена и взволнована для того, чтобы сказать что-либо.

– Что вам от меня угодно? – с ледяною вежливостью спросила наконец Шадурская, которая ни сама не садилась, ни посетительнице не указала на кресло.

– Вы это уже знаете, – прошептала бедная девушка.

– Я знаю только то, что поступаю, может быть, слишком опрометчиво, дозволив себе принять вас, – возразила княгиня своим прежним тоном. – Вы должны знать, что более не существуете уже для общества, – и верьте, только из одного христианского чувства я принимаю вас нынче... Только покорнейше прошу, чтобы это был последний раз, – поспешила добавить она.

– Мне света не нужно; мне нужен ребенок мой! – твердо сказала девушка.

– Как!.. и вы решаетесь так прямо говорить об этом? Где же девическая скромность? – благонаравно удивилась княгиня, которой стало уже невмоготу притворяться строгой христианкой, а так и подмывало явиться в настоящем своем образе беспощадно строгой Дианы.

– Зачем говорить слова? – возразила Анна. – Я прошу у вас моего ребенка.

– К сожалению, я ничего не могу сказать вам о нем. Я его почти и не видала.

– О, сжальтесь! не мучьте же меня! – простонала мать, ломая с мутящей тоской свои руки, и, вдруг зарыдав, опустилась на колени перед гордой княгиней. – Отдайте, отдайте мне его! Скажите, где он! – умоляла она, захлебываясь от глухих и тяжелых рыданий.

– Я уже сказала вам, – промолвила Шадурская, не делая ни малейшего движения, чтобы поднять с полу несчастную.

– Вспомните, ведь вы тоже мать!.. Мать... Поймите же меня! – стонала княжна, в исступлении подползая к ней на коленях и судорожно ловя ее руки.

– Встаньте, – повелительно сказала княгиня. – Между нами нет и не может быть ничего общего... Вы сами захотели упасть в ту пропасть, которая навеки отделила вас от всех честных и порядочных женщин, – ну, так на себя и пеняйте же! – с жестокой, желчной холодностью говорила она, безжалостно измеряя глазами ползавшую перед ней жертву и более чем когда-либо сознавая в себе все величие своего достоинства.

– И у вас хватает духу читать мне мораль в эту минуту! – с горьким упреком прервала ее княжна Анна.

– Ошибаетесь, я не мораль читаю вам, – сухо возразила княгиня. – Я хочу только сказать, чтобы вы не писали ко мне более писем: они могут компрометировать меня.

Княжна тотчас же после этих слов поднялась с полу и гордо выпрямилась.

– Вы не скажете мне, где мой ребенок? – решительным тоном спросила она.

– В последний раз говорю вам – нет! и покорнейше прошу оставить меня! – поклонилась Татьяна Львовна.

– Так будьте же вы прокляты! все прокляты! – задышающимся шепотом проговорила княжна, страшно дрожа всем своим телом, и повернулась к двери.

– Вы слышали, что княгиня Чечевинская скончалась? Третьего дня ее хоронили и... вы – ее убийца! – безжалостно-равнодушно сказала Шадурская, спокойно отходя к своему дивану.

Княжна вздрогнула, на минуту остановилась неподвижно на месте, потупя свою голову так, как будто ожидала сейчас удара секиры, и, вслед за этим, тотчас же молча вышла из будуара.

Морской ветер хлестал одежду прохожих и пробегал по крышам все с теми же пронзительными порывами. Туман и дождливая холодная изморозь густо наполняли воздух, в котором царствовали мгла и тяжесть.

Нева плескалась волнами своими в гранитную набережную, за рекой крепостные часы с безысходною тоскою медленно играли «Коль славен наш господь» и пробили девять. По пустынной набережной шибко шла против ветра высокая, стройная женщина, закутанная в черную шаль, и шла, казалось, без всякой определенной цели, без всякого пути.

– Кажется, недурна, – процедил себе сквозь зубы беспутный шатун-гуляка и, подумав с минуту, повернулся и пошел вдогонку за молодой женщиной, темный очерк которой с каждым шагом все более и более терялся в холодном и морозящем тумане петербургской ночи...

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ НОВЫЕ ОТПРЫСКИ СТАРЫХ КОРНЕЙ

### I ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

1858 года, месяца сентября, числа не упомяну какого, в «Ведомостях С.-Петербургской Городской полиции», под рубрикой приехавшие, было пропечатано:

#### ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Его сиятельство князь Дмитрий Платонович Шадурский с супругой.

Князь Владимир Дмитриевич Шадурский, гвардии корнет.

Коллежский советник Давыд Георгиевич Шиншеев с дочерью Дарьей

Давыдовной.

Баронесса фон Деринг, ганноверская подданная.

Ян-Владислав Корозич, австрийский подданный.

Далее за сим в полицейской газете следовала рубрика: выехавшие, которая для сущности нашего рассказа не представляет ровно никакой надобности, и потому мы оставляем в покое полицейскую газету.

По этой выписке и собственно по году, к которому она относится, читатель может видеть, что от начала нашего повествования до приезда из-за границы вышепоименованных личностей прошло двадцать лет. Воды утекло много. Старые годы и старые грехи заменились годами новыми и новыми грехами. В жизнь вышли новые отпрыски старых корней. Они-то главным образом и составят предмет предлагаемого повествования.

\* \* \*

За два дня до появления в полицейской газете известного уже вам объявления к Петербургу на всех парах подходил пассажирский поезд Варшавской железной дороги, на которую в то время пересаживались во Пскове из почтовых экипажей, принимавших путников на русской границе.

В одном из отделений первого класса сидели три дамы и четверо мужчин. Все они, очевидно, составляли одно общество и, казалось, были более или менее коротко знакомы друг с другом.

Впрочем, беседу их нельзя было назвать общею, она имела разрозненный и интимный характер, ибо все это маленькое *société* делилось на три отдельные группы.

Первую группу составляли две личности: дама, весьма элегантно одетая в дорожный костюм, с белым тюлевым вуалем на пепельных волосах, который, обрамляя ее довольно полное лицо, придавал некоторую свежесть поблекшей коже. На вид ей было лет за сорок пять, и каждый мало-мальски прозорливый и опытный человек при взгляде на это лицо непременно бы заметил про себя: «Ах, матушка, а и пожила же ты, однако!» Лицо это, видимо, блекло и увядало, несмотря на все старания, на все хитрости и уловки удержать былую свежесть; но всякий бы сознался, что оно во время оно принадлежало красавице гордой, великосветской, ибо на нем и до сих пор еще во всей неприкосновенности сохранился холодный отблеск характера строгой Дианы. Мужчина, сидевший подле нее, на вид имел тоже лет около сорока и гля-

дел джентльменом того покроя, который приобретается посредством долгого шатания по белу свету, где человек не то что воспринимает, но всасывает в себя характер последней модной картинки, последних модных потребностей, привычек и взглядов. Довольно плотной и красивой наружностью своей он представлял тип того, что называется *bel homme et brave homme*<sup>113</sup>, второму качеству в особенности способствовали рыжие усы, густая рыжая борода довольно объемистого свойства и умные проницательные глаза. Поблекшая ех-красавица, сколько можно было догадаться из некоторых взглядов, улыбок и слов, была заинтересована рыжебородым *bel homm'*ом, а этот в свою очередь интересовался поблекшей красавицей, хотя (внутренно-то), быть может, и вовсе не с той стороны, с какой она предполагала.

У противоположного окна расположилась другая группа: дама на вид лет тридцати, не более, хотя на самом деле ей было тридцать восемь, одетая с такою же элегантно-роскошною простотою, как и первая, с тою только разницею, что первая уже увядала, а эта еще проходит период второй молодости, блистая созрелой красотой и женственной силой. Высокий, статный рост и роскошно развитые формы, при белом, как кровь с молоком, цвете лица, умные и проницательные серые глаза под сросшимися широкими бровями, каштановая густая коса и надменное, гордое выражение губ делали из нее почти красавицу и придавали характер силы, коварства и решимости. «Либо королева, либо преступница», – сказал бы физиономист при взгляде на это лицо.

Подле нее расположились в довольно интимных позах двое стариков, и нельзя сказать, чтобы красота и маленькое кокетство их собеседницы не производили на них достождного воздействия: старческие улыбки и масляные взгляды красноречиво убеждали в силе впечатления. Один из стариков являл из себя мужчину еще довольно бодрого; его небольшой рост, приземистость и некоторая коренастость говорили в пользу его здоровья; одет он был весь в черное; белье отменной тонкости и белизны; на шее красовался, даже и в дороге, орден Станислава, на брюшке массивная золотая цепочка, на пальцах многоценные перстни. Дорогая артистической работы палка и золотая табакерка составляли атрибуты этой особы. О лице его распространяться много нечего; разве сказать только то, что оно носило плебейский, армянско-восточный характер и старалось бакенбардами своими походить на лица солидно-влиятельных петербургских чиновников. В другом старце, напротив, с первого же взгляда невольно давал себя чувствовать прирожденный аристократизм, которым весь он был проникнут. Но, несмотря на этот аристократизм, *pur-sang*, несмотря на солидные годы (ему было под шестьдесят), в старце проглядывало нечто комическое, нечто не совсем-то солидное, что происходило от желания молодиться и выглядеть юношей, даже в некотором роде гаменом: пестрый, легонький галстук, коротенький пиджак, полосатые панталоны, легкие, изящные ботинки и, наконец, стеклышко в глазу ясно изобличали в нем если не бывшего ловеласа, то, во всяком случае, настоящего любителя балета и стереоскопных картинок. Во всей фигуре его было что-то истощенное, болезненное, в лице порою мелькало даже нечто идиотическое. Старец страдал размягчением мозга. Члены этой последней группы для препровождения времени играли в «чет или нечет». Оба старца, скомкав в кулаке по ассигнации, наперерыв старались, чтобы собеседница угадала четное или нечетное число. Она, смеясь, весьма небрежно и кокетливо произносила то или другое слово – и каждый раз ассигнация которого-либо из старцев переходила в ее дорожную сумку. Там уже лежало немалое количество этих выигранных ассигнаций.

Третью группу составляли: молодая девушка, смуглая и некрасивая собой, и молодой человек, наружности, напротив, весьма красивой, в которой, несмотря на европейский партикулярный костюм, сквозило нечто кавалерийско-военное. В восточном типе девушки ясно сказывалось фамильное сходство с кавалером Станислава, а в молодом человеке – с пепельно-кудрой, полной дамой в белом вуале и со старцем-гаменом. И девушка и молодой человек

<sup>113</sup> Красивый мужчина и честный человек (фр.).



мало как-то интересовались друг другом – совершенный контраст двум остальным группам. Девушку больше занимал роман Поля Феваля, а молодого человека – красота собеседницы двух старцев. Его более тянуло все к этой последней, чем к своей соседке, но незаметный взгляд пепельной дамы каждый раз останавливал его подле некрасивой девицы. От зоркого взгляда рыжебородого джентльмена не ускользал этот немой разговор, и он каждый раз только чуть-чуть улыбался про себя какой-то двусмысленной улыбкой, незаметно перекидываясь взглядом с собеседницей старцев.

Наконец пепельная дама не выдержала и подозвала к себе молодого человека.

– Вольдемар, ты забываешь наш разговор, – сказала она ему тихо, весьма близко подвинувшись к его лицу.

– Какой это, тамап? – спросил он небрежно.

– Наши планы...

– Но ведь это скучно!

– То от тебя никогда не уйдет, а тут – состояние... Ты забываешь...

– *Brigadier, vous avez raison!*<sup>114</sup> – шутиливо ответил он, целуя ее руку, и уселся на прежнее место, затем чтобы снова не обращать почти никакого внимания на смуглую девицу.

– Господа, мы у пристани – конец игре! – сказала красивая дама своим обязательным старцам, захлопывая пружину дорожной сумки.

– Игре, но не знакомству, баронесса? – заметил гамен и вставил стеклышко.

– Так не забудьте же имя... генеральша фон Шпильце, – весьма тихо сказала княгиня рыжему джентльмену, выходя с помощью его из вагона.

Тот ответил молчаливым, но многозначительным пожатием руки.

На платформе все это маленькое общество, перезнакомившееся между собой за границей и еще теснее сплоченное теперь путешествием, весьма дружески продолжало болтовню и прощанье, в ожидании своих людей и экипажей. Наконец кавалер Станислава вместе с некрасивой девицей сели в щегольскую двухместную карету, запряженную кровными рысаками; в столь же щегольской коляске поместились гамен с пепельной дамой и молодым человеком, а рыжебородый джентльмен и баронесса – в наемном экипаже, и со всеми чемоданами отправились вдвоем в отель Демута.

– Ну, как твои дела? – спросил он ее в карете.

– Успешны; девятьсот тридцать в выигрыше, да впереди тысяча шансов: трем дуракам головы вскружила. А ты как?

– Так же, как и ты... Вообще петербургский сезон, кажется, обещает... У тебя не бьется сердце? Нисколько?

– Да чего ж ему биться? – удивилась она.

– Как! а воспоминания?.. Тогда и теперь – боже мой, какая разница!

Баронесса опять улыбнулась своею презрительною мимикой и ничего более не ответила.

Кажется, не для чего прибавлять, что рыжебородый джентльмен, которого баронесса фон Деринг называла своим братом, был Ян-Владислав Карозич, как значилось в отметке полицейской газеты. В кавалере Станислава и его некрасивой спутнице тоже нетрудно узнать коллежского советника Давыда Георгиевича Шиншеева с дочерью Дарьей Давыдовной. Зато редко бы кто, после двадцатилетнего расстояния, решился признать в расслабленном гамене, в этом полушуте гороховом, страдающем размягчением мозга, прежнего гордого Чайльд Гарольда и великосветского льва – князя Дмитрия Платоновича Шадурского.

*Sic transit gloria mundi...*<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Унтер-офицер, вы правы! (фр.)

<sup>115</sup> Так проходит слава мирская... (лат.)



## II СТАРЫЙ ДРУГ – ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

На другой день, утром часов около одиннадцати, Карозич спустился из своего номера в общую залу – пробежать свежие новости. Едва отыскал он в куче русских и иностранных газет «Independence Beige», как к нему очень учтиво подошел неизвестный, но весьма изящно одетый господин, с висками и черненькой бородкой a la Napoleon III, и с предупредительной галантной вежливостью спросил по-французски, с несколько еврейским акцентом:

– Вы приезжий иностранец?

– Так точно. Я поляк... А вам что угодно?

– Я комиссионер, к вашим услугам... Если вам нужно в сенат или другое присутственное место, на биржу, к банкирам, осмотреть ли город и достопримечательности, указать ли магазины, сделку промышленную устроить, свести с каким-нибудь человеком, – одним словом, все, что касается до петербургской жизни и потребностей, – я ваш покорнейший слуга, можете пользоваться моей специальной опытностью. Я в этот час утра постоянно пью здесь мой кофе.

Комиссионер проговорил все это быстро, но необыкновенно плавно, отчетливо, сознавая собственное достоинство, и с последним словом своего монолога выжидательно поклонился.

– Очень рад, – ответил Карозич, – мне нужно будет узнать один адрес.

– Адрес? и это могу! – подхватил комиссионер, – мне почти все дома в Петербурге и все адреса сколько-нибудь замечательных лиц вполне известны.

– Генеральшу фон Шпильце знаете?

– Амалию Потаповну? Боже мой, да кто ж ее не знает! Так этот-то адрес нужен?

– Этот самый; вы меня очень много обяжете, если сообщите...

– Отчего же не сообщить? Всегда могу! Конечно, вы могли и сами узнать в адресном столе, но это не совсем-то удобно и мешкотно для иностранца, и притом вы не знаете даже, где адресный стол помещается, тогда как я могу сообщить сию же минуту, – значит, вам двойной выигрыш: время и спокойствие.

– Ну, так сделайте одолжение: мне очень нужно знать.

– Хорошо, хорошо, с удовольствием. А не угодно ли вам осмотреть Эрмитаж, например, Исакиевский собор, к Излеру вечером отправиться? Последнее в особенности я вам рекомендую.

– Мне нужен адрес, только адрес, и пока больше ничего! – с легкой настойчивостью возразил Карозич, ясно заметив, что господин отлынивает от дела и старается заговаривать о вещах посторонних.

– Ах, однако, мой кофе совсем простыл, да и газету еще не дочел я! – скороговоркой пробормотал комиссионер, быстро направляясь в противоположный конец комнаты, к своему месту, откуда весьма любезно кивнул из-за газеты Карозичу:

– Извините, я одну только минуту.

Но прошло и целых десять, а он все еще не двигался с кресла, уткнув нос в свою газету, и словно совсем позабыл не только об адресе, но и о существовании самого-то Карозича.

Этот последний, наконец, понял, что предварительно надо дать денег, а потом уже спрашивать, что нужно, и потому, вынув из кармана бумажник, направился к столику комиссионера.

– Ваша специальность – ваш труд, – начал он, сжав в кулаке трехрублевую ассигнацию. – Всякий труд должен вознаграждаться. Поэтому, так как я неоднократно буду еще пользоваться им – позвольте мне...

За недоговоренной фразой последовала обычно секретная передача, вроде известных передач за визит малознакомым докторам.

– Ах, помилуйте, что вы! как будто уж и нельзя без этого? Мне очень совестно, право, – смущенно заговорил комиссионер, пряча в карман (тоже маскированно и незаметно) полученную бумажку. – Извините меня, я так заинтересовался политикой: из Италии весьма интересные новости, – прибавил он, радушно пожимая его руку. – Так вам нужен адрес m-me фон Шпильце? Позвольте, я вам запишу: «Большая Морская, дом № 00, имя – Амалия Потаповна». Вам ее самое нужно видеть? – спросил он, отдавая клочок.

– Ее лично.

– Ну, так ступайте в правый подъезд, где швейцар стоит, а в левый не ходите...

Карозич хотя и не понял, почему это не должно ходить в левый подъезд, если есть надобность лично до самой генеральши, однако, не продолжая далее расспросов, решил последовать совету комиссионера.

\* \* \*

Лишние двадцать лет на плечи хоть кого изменят. Генеральша фон Шпильце тоже отдала свою дань времени. Хотя на калмыцко-скуластом лице ее все так же лежал слой очень тонких косметик, но это уже была набеленная и нарумяненная старуха пятидесяти пяти лет от роду. Дородная полнога ее разбухла в тучность. Одни только широкие шелковые платья шумели на ней по-старому. Впрочем, и рыжие немецкие волосы, и карие жирные глаза в толстых веках так же пребывали в благополучной неизменности; зато вздернутый французский нос – увы! – преобразился в сущую картошку и напоминал плохо пристегнутую пуговку. Но апломб, важность и манера держать себя с клиентами и посетителями, как и во время оно, остались все те же, если еще не усилились, ибо, как известно, ничто столько не способствует к умножению в человеке гордости, важности и самолюбивого апломба, как сознание своих преклонных лет, своей почтенной и безукоризненной старости. А m-me фон Шпильце не только старость, но и всю жизнь свою считала вполне почтенною и безукоризненною.

Генеральша осталась очень удивлена, когда ей передали визитную карточку с надписью «Jahn Wladislaw Karosicz» – имя, ей совершенно неизвестное. Это ее весьма заинтересовало, так что она решила тотчас же принять его.

– Я к вам от княгини Шадурской, – начал Карозич, отдав ей джентльменски изящный поклон. – Она просит вас принять меня под свое покровительство, – добавил он с мило игривой улыбкой.

Генеральша осмотрела всю его фигуру испытующим взглядом.

– Княгиня принимает это дело близко к своему сердцу? – спросила она неторопливо.

– Весьма близко, сударыня.

– Очень рада быть ей полезной, только попросите княгиню приехать в модный магазин, здесь же, в этом самом доме – вы, вероятно, заметили внизу?..

– Зеркальные стекла? – подхватил Карозич.

– Он самый. Попросите княгиню переменить свою портниху и вперед заказывать шляпки и платья внизу. Скажите ей, что послезавтра в два часа я сама буду там ожидать ее, а вас попрошу явиться ко мне за полчаса до ее приезда.

Проговорив это, генеральша слегка поклонилась солидным, сдержанным поклоном, который ясно говорил: «Можете удалиться», – и Карозич тотчас откланялся.

\* \* \*

– Ба! Это вы?! Вы здесь?.. Какими судьбами?.. Вот неожиданная встреча!.. давно ли?

Карозича внутренне передернуло от этой действительно неожиданной встречи, застигшей его врасплох на лестнице генеральши фон Шпильце, однако он весьма любезно улыбнулся и еще любезнее пожал протянутую ему руку.

– Ну что? Как дела, батюшка мой? Верно, швах, коли в Россию перебрались! О, родина святая! Какое сердце не дрожит, тебя благословляя! Признайтесь-ка, ваше, верно, тоже немножко встряхивалось, когда через заставу переезжали? Впрочем – pardon! – с этой стороны я ваших качеств не знаю! – бесцеремонно говорил Карозичу его знакомец, не выпуская руки его из своих радушных ладоней.

– Ну, что Баден-Баден, рулетка? Что *cercle des lapins, cercle des poignards*?<sup>116</sup> – продолжал он, остановясь на площадке.

– Да что, в самом деле плохо, – вздохнул Карозич. – Принужден был уехать.

– То есть как же это? мит гросс шкандаль?

– Ну, нет, это уж последнее дело; но... надо было сохранить честь своего имени – благо-разумие того требовало, – сквозь зубы процедил Карозич.

– Это правильно. Однако что же мы стоим-то тут? Отправимтесь лучше позавтракать к Дюссо, да потолкуем, – предложил незнакомец, взяв Карозича под руку и сводя его с лестницы. – Я вас сегодня не выпущу, зане мы друг другу зело полезны быть надлежим. Эй! швейцар, – крикнул он мимоходом отставному усачу в ливрее, – скажи генеральше, что я к ней после заеду, а теперь кликни мою коляску.

Знакомец Карозича – высокий блондин, с великолепной русой бородой и усами, немного косоватый, в золотых очках, казался мужчиною лет сорока восьми, впрочем, необыкновенно крепким, бравым и бодрым. Одет он был столь же джентльменски модно, как и Карозич, только во всей фигуре его как-то сразу давала себя чувствовать старовоенная, кавалерийская складка. Это был также один из числа наших знакомых – Сергей Антонович Ковров.

– Ну, что, вы все еще по-старому продолжаете держаться теории экономистов-собственников и принципа одиночности? – полушутливо расспрашивал Ковров, трудясь над холодной пуляркой за завтраком, который был подан нашим знакомым в одном из отдельных кабинетов ресторана Дюссо.

– Я нахожу это практичнее, – прожевал Карозич, в глубине души крайне досадовавший на свою встречу.

– Вы ошибаетесь. Совсем отживший принцип! Деятнадцатый век, батюшка мой, – век социализма, и я нахожу гораздо практичнее теории ассоциаций.

– То есть в отношении зеленого поля?

– О зеленом поле нечего и говорить: тут уж без крепкой и, заметьте, хорошо организованной ассоциации и шагу ступить нельзя. Но нет, я нахожу, что и во всех остальных отраслях индустрии она необходима в наше время.

– А языки? а малодушие? – с улыбкой заметил Карозич.

– Стало быть, вы полагаете, что по пословице: «Один в деле – один и в извороте», гораздо лучше выходит? Не спорю; тут, конечно, есть своя доля справедливости; но ведь для этого у нас – голова, а в голове мозги; – надо рассудить да зорко разглядеть сначала, кого принимаешь в долю, каков он, значит, гусь из себя выходит. Люди, батенька мой, в этом случае берутся не зря, а с разбором. Он у меня, каналья, сперва сорок искусов да двадцать мытарств пройдет, прежде чем я-то приму его. Вот оно что-с!

– Все-таки это менее надежно, – возразил Карозич.

– Зато более гуманно! – отпарировал Ковров. – Сами едите – давайте есть другим! а иначе – что ж это? своего рода плантаторство, эксплуатация. Да и наконец, черт возьми, мне

---

<sup>116</sup> Кружок кроликов, кружок кинжалов.

без риска скучно работать! да и не то что «скучно», просто – гадко! противно! Вот что-с! Я вам скажу откровенно: для меня то дело, где нет ни малейшего риска – не дело, а дрянь!

Карозич улыбнулся.

– Ну вот, вы улыбаетесь, а улыбаться тут, право, нечему: я говорю дело, – заметил Ковров. – Вспомните два года назад в Гамбурге, когда и вам и мне порознь весьма-таки плохо приходилось – ну, не встретиться мы на ту пору, не узнай по случайной старине друг друга да не соединись наконец вместе – что бы вышло? Ведь, слава богу, если бы только конечное разорение, а могло бы ведь и сырыми стенами попахнуть.

– Это так, – вздохнул Карозич после минутного размышления.

– Ну вот вам и ассоциация! Пример, кажется, довольно нагляден. А теперь позвольте вас спросить – вы приезжаете в Петербург в первый раз после двадцатилетнего отсутствия, – ведь вы все равно что в чужой город приехали. Спрашивается: как вы начнете свою деятельность без связей и поддержки со стороны ассоциации?

– У меня есть уже некоторые знакомства в свете, – пояснил Карозич.

– Кто это? Генеральша фон Шпильце, что ли?

– Положим, хоть бы и она.

– Хорошо-с. Персона доброкачественная, в некотором роде ингредиент, необходимый в делах мира сего. А что вы скажете, батенька мой, – заговорил он вдруг, неторопливо возвышая тон и пристально прищурясь на Карозича, – что вы скажете, как если, при посредстве той же самой благодетельной генеральши, вас в одно прекрасное утро административным порядком из городу вон отправят. Что вы мне скажете на это?

– То есть как же это, однако? – в недоумении откинулся Карозич на спинку стула.

– А так-с, что эта самая генеральша – особа весьма многосторонняя, и связи у нее почище наших с вами. Генеральша сия – изволите ли видеть, – пояснил Ковров, медленно прожевывая кусок и в то же время не переставая наблюдать своего собрата, – генеральша сия есть в некотором роде меч, и меч не простой, а обоюдоострый, и чего для нас с вами невозможно сотворить, то она созидает весьма легко и удобно.

– Но у меня ведь не одна генеральша, – защищался Карозич, – у меня есть много и других – людей порядочного общества и людей состоятельных, с которыми я был знаком за границей, а ведь это, согласитесь, поле довольно широкое.

– Да, но все это общество столько же ваше, сколько и мое, – возразил Ковров, – вам еще нужно вступать в него здесь, в Петербурге, тогда как я уже давным-давно член этого общества, живу в нем и действую. Как видите, шансы немножко неравны. И, наконец, я – человек открытый и, как порядочный человек, буду с вами откровенен: я вам буду вредить в этом обществе, да и во всяком, где бы вы ни показались.

– Это, однако, почему же? – полухмуро, полуулыбаясь спросил Карозич.

– Потому, – объяснил Ковров, – что вы – сила, вы – такая же сила, как и я; вы так же умны и почти так же опыты, как и я. Порознь мы будем только мешать и портить друг другу; вместе – мы можем обделывать великолепные дела. Не спорю, вы в свою очередь также можете мне нагадить и подстроить невкусную каверзу, но пока – большинство шансов на моей стороне: вы одни, одни, не забудьте! а у меня – целая партия... Если, впрочем, вы приехали сюда с целью сделаться мирным гражданином, забыть свое прошлое, то помогай вам господи! – прибавил он, дружески взяв Карозича за руку. – Я вам мешать и смущать вас не стану; если же нет, то выбирайте сейчас между враждой и дружбой. Кем мне прикажете считать вас?

Карозич с минуту нахмурился, провел по лицу ладонью и, наконец, решительно сказал ему:

– Другом!

– Оно гораздо удобнее для обоих. Теория ассоциации, значит, торжествует! Bravo! Я радуюсь столько же за идею, сколько за вас самих, – говорил Ковров. – Поверьте, милый Каро-

зич, нам выгоднее быть друзьями; положим, – продолжал он, – в то время, как вы только выступали на поприще, я уже был капитаном, но... время и люди уравнили нашу опытность, недаром же я и тогда еще предрек, что вы далеко пойдете. Но, знаете ли, хотя вы в тысячу раз сдержаннее, уклончивее, сосредоточеннее меня, – я, черт возьми, слишком открыт! – но это, мой милый, отнюдь не мешает мне очень тонко понимать вас и видеть насквозь ваша внутренняя: видите ли, как я бесцеремонно и простовато откровенен с вами?

– То есть вы мне даете этим понять, что надо мной и моими поступками будет контроль? – серьезно спросил Карозич.

– Да, мой друг, маленький тайный контроль, вы не ошиблись! И это, поверьте, нелишнее с такую силою, как вы!

– Значит, вы мне не доверяете? – сухо, оскорбленным тоном спросил Карозич.

– Нисколько, равно как и вы мне, надеюсь, – очень просто и равнодушно ответил Ковров.

– Но ведь я над вами контроля не утверждаю?!

– Потому что не имеете возможности; а будь у вас средства да надежная партия – тогда, позвольте мне в том уверить вас, непременно бы учредили и даже постарались бы меня, как лишнего человека, что называется, подвести под амбу.

Ковров при этом сделал весьма выразительный жест столовым ножом.

«Амба!»... При слове «амба» в памяти Карозича мелькнуло как будто что-то знакомое, но далекое, когда-то и где-то им слышанное и давно позабытое. Однако из выразительного жеста ножом он понял, что такое означает «подвести под амбу», и личные мускулы его слегка передернуло.

– Успокойтесь, с вами этого не случится, если вы не шпион, – утешил его Ковров. – А шпионом вам быть здесь, кажись, несколько мудрено, если принять в соображение ваше прошлое и вашу заграничную жизнь. Да, наконец, оно и менее выгодно... Вы сколько раз меняли свое имя и паспорт? – неожиданно прибавил он. – Раза три было ведь.

– Что же из этого? – недовольным тоном возразил Карозич.

– Я ни разу! Я как был, так и есть отставной поручик Черноярского полка Сергей Антонов сын Ковров. Ergo: я ловчее вас, и однако вот предлагаю вам, как благородный человек, дружбу, равное значение и равную долю в барыше и в несчастии.

– Хороша дружба, – иронически заметил Карозич.

– *Coute que coute, mon cher*<sup>117</sup>. Товар лицом продаю, – пожав плечами, согласился Сергей Антонович. – Со временем, когда мы нашими общими аферами запутаемся с вами в один неразрывный gordien узел, эта дружба может перейти в дружбу Кастора и Поллукса – истинную, настоящую, если который-нибудь из нас не захочет сделаться Александром Македонским. А теперь, для доброго начала, мы с вами задушим одного младенца неповинного.

– Младенца? – выпучил глаза Карозич.

– Да, задушим младенца в честь нашей дружбы и союза! – подтвердил Ковров. – Это на моем собственном argot значит распить бутылку шампанского. Хотя я этого брандахлысту и никогда не употребляю, но на сей раз готов сделать исключение.

– Итак, договор решен и подписан! – пять минут спустя заключил Сергей Антонович, чокаясь с Карозичем стаканами. – Мы с вами старые друзья, а старый друг и по пословице – лучше новых двух выходит!

---

<sup>117</sup> Стоит столько, сколько стоит, дорогой! (фр.)

### III ПРОМЕЖУТОК

Читатель до сих пор остается в полной неизвестности относительно судьбы некоторых лиц, брошенных автором двадцать лет тому назад, кто на судне контрабандиста среди Ботнического залива, кто – среди приготовлений к отъезду за границу, кто – так себе, позабытым в толкотне и суетне Петербурга. Что, например, случилось с беглянкою Наташей и ее спутником Казимиром Бодлевским? Что поделявала во все это время почтенная чета Шадурских? Что, наконец, остальные? Об остальных еще речь впереди, судьбу их читатель узнает в надлежащем месте: о Шадурских же с Бодлевским и Наташей мы намерены поведать вкратце сию же минуту, для чего собственно и начали эту главу.

Судно перерезывало Ботнический залив по направлению к шведскому берегу. Поздно вечером прокралось оно на стокгольмский рейд, и отважный финн в легком челноке, лавируя в тени между крутыми смолеными боками многочисленных судов, – дело было для него привычное, – причалил со своими пассажирами к берегу в одном укромном местечке, близ одной укромной таверны, куда редко проникала бдительность таможенных надсмотрщиков. Бодлевский, заранее приуговоря надлежащую, весьма скромную сумму для расплаты за провоз, очень жалостливо стал уверять финна, посредством пояснительных жестов, мин и русских слов, насколько тот мог понимать их, что он весьма бедный человек и даже не имеет возможности заплатить вполне условленные деньги. Недочет был невелик, всего каких-нибудь два рубля, и добродушный финн оказал ему великодушие: хлопнув его по плечу, назвал добрым камрадом и сказал, что с бедным человеком спорить не станет и услугу оказать всегда готов. Он даже приютил его с Наташей на ночлег в укромной таверне, под своим покровительством. Финн был в самом деле очень честным контрабандистом. На другое утро, окончательно протистившись со своим поднадутым перевозчиком, наша чета направилась в дом английского консула и выпросила себе аудиенцию. Здесь уже главным деятелем явилась Наташа.

– Мой муж – поляк, – говорила красавица, сидя против консула в его кабинете, – я же сама по отцу – русская, по матери – англичанка. Мой муж замешан в политических делах; ему предстояла Сибирь, но нам случайно удалось бежать в то самое время, когда явились его арестовать. Теперь мы политические беглецы и отдаемся правительству и защите английских законов. Будьте человеколюбивы, приютите нас и отправьте в Англию!

Обман, посредством хитро сплетенных и очень правдиво рассказанных подробностей дела, удался как нельзя лучше – и через два-три дня первое же попутное судно под английским флагом увозило в Лондон совершенно счастливых путников.

Бодлевский уничтожил и свой собственный паспорт и вид вдовы коллежского асессора Марии Солонцовой, который был нужен Наташе только на всякий случай, пока она находилась в пределах России. В Англии гораздо удобнее казалось им назваться новыми именами. Но, в новом положении, и с этими новыми именами явилось одно большое неудобство: решительно нельзя было пустить в ход своих капиталов, не навлекая на себя весьма опасных подозрений. Разностороннее искусство лондонских мошенников известно всему свету: в клубе их Бодлевскому, который не замедлил свести там необходимые и приятные знакомства, удалось еще раз добыть себе и Наташе удивительно подделанные паспорта, опять-таки с новыми именами и званиями. С ними-то несколько времени спустя и появились они на континенте. Молодость и страстная охота пожить и наслаждаться ключом кипели в обоих; в горячих головах роилось много золотых надежд и планов: хотелось, во-первых, пристроить куда-нибудь понадежнее свои капиталы, потом поездить по Европе, избрать себе где-нибудь уголок и поселиться для мирной и беспечальной жизни. Может быть, все это так бы и случилось, кабы не карты и не рулетка, да не желание ненасытно приумножить на счет фортуны свои капиталы – и попали



они, рабы божии, в лапы одной доброй компании, агенты которой обыгрывали их и в парижском Frascati, и в Гамбурге, и на различных водах, так что не прошло и года, как Бодлевский в одну прекрасную ночь вполне мог применить к себе известное изречение: «Яко наг, яко благ, яко нет ничего». Впрочем, год-то прожили они блистательно, появление их в каждом городе производило некоторый эффект, и в особенности с тех пор, как Наташа стала титулованной особой: в течение этого года ей удалось приобрести, по случаю, очень дешево австрийское баронство, конечно, только на бумаге. Спустив все свое состояние, Бодлевскому ничего более не оставалось, как только самому вступить в члены той же самой компании, которая так успешно перевела в свои карманы его деньги. Красота Наташи и качества Бодлевского явились аргументами такого рода, что признать обладателей их своими сочленами компания нашла весьма полезным. Дорого заплатила чета за науку, зато наука пошла впрок и стала приносить порою плоды весьма обильные. И пошли тут дни за днями и годы за годами, ряд самых мучительных, тревожных ночей, целый ад сильных ощущений, волнений душевных, самых тонких и ловких хитросплетений, вечная гимнастика ума ради уловок, обмана и изворотливости, целый цикл афер и мошенничества, целая наука хоронить в воду концы и вечный призрак суда, тюрьмы и... может быть – эшафота. Бодлевский, с его упорным, настойчивым и сосредоточенным характером, достиг высшей школы в искусстве вольтов и тому подобных штук. Он мог обыграть на чем угодно: и на зеленом поле ломберного стола, и на зеленом поле бильярда, в лото, в кегли, в орлянку. Тридцати лет от роду, он казался старше по крайней мере десятью годами: эта жизнь, эти упорные усилия и вечная работа ума, вечная тревога ощущений перешли в нем в какое-то фанатическое служение своему делу – факирство перед своим идолом. Он явно сохнул физически и старел нравственно, одолевая все трудности своей профессии, и только тогда успокоился и просветлел духом своим, когда во всех многообразных отраслях своего призвания достиг последнего совершенства, почти идеала. С этой минуты он переродился: он помолодел, он самоуверенно и солидно ободрился, даже поздоровел весьма заметно, и именно с этих пор принял вполне уже джентльменский вид и выдержку. Что касается Наташи, то жизнь и стремления, общие с Бодлевским, вовсе не имели на нее такого сильного, сокрушающего влияния, как на этого последнего. Ее гордая, решительная натура принимала иначе все эти впечатления. Она отнюдь не переставала расцветать, хорошеть, наслаждаться и пленять собою. Все то, что вызывало столько глухой внутренней борьбы и нравственных страданий у ее любовника, в ней встречало полнейшее равнодушие, и только. Происходило это вот отчего: решаясь на что-нибудь, она всегда решалась сразу и необыкновенно твердо; весьма немного времени ей нужно было на очень верное и тонкое соображение, чтобы быстро взвесить все выгоды и невыгоды дела – и затем уже без усталости непреклонно и холодно идти к задуманной цели. Первая цель ее жизни была месть, потом – блеск и комфорт, расплата за них – может быть, плаха. Наташа твердо знала, что это так, да иначе почти и быть не может, и потому, вступив на избранный однажды путь, уже постоянно оставалась спокойной и равнодушной, продолжая блистать и пленять собою мошенников и честных. Ее ум, образование, ловкость, находчивость и прирожденный такт дали ей возможность за границу, везде, где она ни показывалась, быть постоянно в среде избранного аристократического общества, да и место-то занимать там далеко не из последних. Многие красавицы завидовали ей, ненавидели, злословили ее – и все-таки искали ее дружбы, потому что она почти всегда первенствовала в обществе. Ее дружба и участие казались так теплы, так искренни и нежны, а ее эпиграммы так ядовиты и безжалостно колки, что каждое злословие меркло перед этим солено-ядовитым огнем, и, стало быть, ничего уже лучше не оставалось, как только искать ее дружбы и расположения. Если, например, в Бадене дела шли хорошо, то всегда можно было наверное предсказать, что по окончании водного сезона Наташа будет в Ницце или в Женеве царицею сезона зимнего, явится львицею львиц и законодательницей моды. И она и Бодлевский всегда держали себя так умно, так осторожно, что ни малейшая тень не ложилась на честь и достоинство вымышленного имени

Наташи. Бодлевскому, впрочем, раза два приходилось перекрещивать себя в новые клички и совершать внезапные экскурсии с юга Европы на север, но таков уж был самый род его занятий, что необходимо требовал этих внезапных перемен местностей – иногда по чутью денег и выгодной аферы, а иногда и по чутью полицейских комиссаров. Доселе все ему сходило с рук благополучно и до «чести его имени» неприкосновенно, как вдруг открылся один маленький подложец; дело пустячное, да беда – произошло-то оно в Париже: могло судом и галерами попахнуть, – и вот новая, необыкновенно быстрая перемена паспорта и новая экскурсия – в Россию, возврат на родину, после двадцатилетнего отсутствия, с именем новым, почтенным и никакою фальшью не запятнанным.

Таким-то вот образом в полицейской газете значилось, что прибыли в С.-Петербург Ян-Владислав Карозич с баронессою фон Деринг.

\* \* \*

Очередь за Шадурскими.

Жизнь этой великосветской четы представляет весьма немного интереса в течение двадцатилетнего промежутка. Нравственный удар, нанесенный князю господином Морденко, был, конечно, очень силен; но это оттого, что нанес его именно господин Морденко. Что касается до его супруги, то «он помирился с ней по размышлении зрелом», ибо, прежде всего, приличие было сохранено, тайна происшествия не нарушена, отъезд за границу еще более укрепил эту тайну, и князь Дмитрий Платонович остался совершенно доволен, насколько могло только простираться довольство в подобном положении. Но княгиня Татьяна Львовна совершенно не удовлетворялась такою развязкою. Она не простила мужу второй пощечины и с этих пор считала себя вправе поступать и распоряжаться собою, как ей угодно. До истории с г. Морденко и до этой пощечины они полагали, что уважают друг друга, а после сих многозначительных обстоятельств начали полагать, что перестали друг к другу питать уважение. Впрочем, жили вместе и все внешние формы соблюдали неукоснительно по-прежнему; значит, внакладе осталось одно только фиктивное чувство взаимного уважения, от которого ни тому, ни другому теплее или холоднее не было, и, следовательно, можно сказать с достоверностью, что течение их жизни нисколько не изменилось, за исключением разве того, что супруги в отношении своих сердечных дел совершенно перестали чиниться друг перед другом, особенно же во время своих заграничных поездок. Разница между ними замечалась только та, что супруга занималась своим сердцем, ни на минуту не переставая быть строгой Дианой, занималась им в камер-обскуре приличия, где для ее только глаз отчетливо и ясно мелькали фигуры какого-нибудь гарсона или виконта, ее парикмахера и оперного тенора. Супруг же изображал все это въяве, стараясь приобрести славу женатого повесы и ловеласа, подобно тому как прежде старался приобрести славу российского Чайльд Гарольда, но, увы! вследствие означенных стараний, под старость дней своих достиг размягчения мозга и комической наружности модного гамена. Словом сказать, эта обоюдная жизнь в течение двадцатилетнего промежутка не была ни возмущена, ни потрясена чем-либо особенным и, отличаясь известными читателю качествами, шла себе ровно и гладко по колею обыденной пошлости. Но в этот же самый промежуток успел вырасти и отлиться в особую форму сын их.

## IV КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ШАДУРСКИЙ

У князя Владимира в детстве не было детства, не было того, что мы привыкли обыкновенно понимать и называть детством. Оттого-то и в юные годы у него не было юности. Он остался каким-то странным выродком. У него не было детства, говорим мы, и оттого никогда впоследствии не было зрелости. Князем Владимиром еще и в колыбели уже все любовались. С тех пор, как только не стал он проносить ложки мимо рта и начал кое-как смыслить человеческие слова, ему постоянно приходилось слышать необыкновенные похвалы и восторги в свою пользу. Все восхищались его наружностью, называли красавцем, и действительно он был красивый ребенок. Всякая его шалость и всякая вовсе не красивая выходка служили поводом к похвалам и восторгам. Мальчишку, например, возьмет кто-нибудь поласкать на колени, а он ручонкой или зубами цапнет за щеку, и начинаются «ахи»: «Ах, какой смелый ребенок! *quelle independance!*<sup>118</sup> И какой умный ребенок, как он все это понимает!» и т.п. – бесконечные рассказы об уме, смелости и тому подобных прекрасных качествах. Князьку хочется в песке покопаться, а его останавливают: «*Mon prince, mon prince, que faites-vous! est-ce convenable?*<sup>119</sup> \* Это прилично детям мужика или чиновника какого-нибудь, а не княжескому сыну!» – и князь, убежденный последним аргументом, перестает копать. Затем, например, хочется ему чего-нибудь такого, что никак не может быть удовлетворено в данную минуту, – князь тотчас же хлоп на пол! начинает злиться, терзать свое платье, с криком и плачем, катается по паркету, брыкаясь руками и ногами, а окружающие предстоят в изумлении, взирая на эти проделки, и удивляются: «Какой необыкновенный, сильный характер у этого ребенка, какая настойчивость!»

Около пятилетнего возраста его личные качества начали выясняться рельефнее. Обозначались они по большей части в Летнем саду, на этой первой арене детской общественной жизни, куда отправлялся он на гулянье вместе со своей нянькой и гувернанткой. Подходит к нему мальчик и приглашает играть. Князек окидывает его смелым взглядом и говорит: «Я не пойду играть с тобою: у тебя панталоны грязные». Мальчик отходит от него сконфуженный, огорченный, чтобы дать место другому, одетому столь же изящно, как и князек. Второй зовет его играть точно так же.

– А вы кто такой? – спрашивает князь.

– Я?... Ваня...

– А ваш папа кто?

– Он... офицер...

– Он князь или генерал?

– Нет, не генерал...

– А!...

И маленький князек не обращал более ни малейшего внимания на офицерского сына. Он сразу примкнул к кружку аристократическому, куда, впрочем, привела его гувернантка, ибо в Летнем саду няньки и гувернантки, принадлежащие аристократическим семействам, всегда держатся отдельно, составляют свой кружок и с остальными не мешаются. В кружке детей аристократической породы маленький князек сразу одержал верх над остальными детьми. Он разыгрывал роль маленького царька и деспотствовал в играх, как ему было угодно. Из девочек старался всегда выбирать ту, которая лучше всех одета, красивее всех лицом, выше ростом и

---

<sup>118</sup> Какая самостоятельность? (фр.)

<sup>119</sup> Князь, князь, что вы делаете? разве это прилично? (фр.)

старше годами. В детях такого характера необыкновенно рано пробуждаются бессознательные инстинкты.

Однажды на даче он дал пощечину ровеснику своему, сыну садовника, за то, что тот не смел по его приказанию выдернуть из грядки какое-то растение. Княгине Татьяне Львовне это показалось уже слишком для такого ребенка, и она пожелала внушить своему сыну пример христианского смирения.

– Проси у него прощения! – сказала она ему, подозревая обоих.

– У кого? – с удивлением спросил маленький князек.

– У этого мальчика... ты его обидел, и я требую, чтобы ты просил прощения.

– *Madame! vous oubliez, que je suis le prince Chadoursky!*<sup>120</sup> – гордо ответил князек и, круто повернувшись, отошел от своей матери. Княгиня ничего не нашла возразить против такого сильного и неоспоримого аргумента.

И это говорил шестилетний ребенок! Таким образом, маленький Шадурский с самого раннего возраста был убежден в трех вещах: во-первых, что он – князь и что равных ему никого нет на свете; во-вторых, что он – красавец, и в-третьих, что он может желать и делать все, что ему угодно, ибо за красоту и за те качества, которые почитались в нем милыми и умными, ему многое прощалось. Однажды его побили, т.е. драку начал он первый и хватил за ухо того же садовничьего сына. Садовничий сын, спустивший ему прежнюю оплеуху, на этот раз распорядился иначе и порядком-таки помял задирчивого князька, надававши ему в свой черед оплеушин. С князьком в тот же день сделалась нервная горячка, и долго после этого обстоятельства не мог он слышать о садовничьем сыне и его побоях без того, чтобы не задрожать всем телом и не засверкать глазами от бессильной злости и оскорбленного самолюбия. Урок этот послужил ему единственно в том отношении, что он на будущее время не дрался уже без разбору, а вступал в бой только с слабейшими себя. Его упражняли в гимнастике, которая ему приходилась очень не по нутру: он был изнеженный мальчишка. Но когда ему сказали, что гимнастика развивает силу, князек предался ей со всем жаром, имея тайную цель – уничтожить садовничьего сына, как только сделается силен. Хотя уже этого садовничьего сына давным-давно не было на месте, но князек по временам с детским злорадством предавался мечтам о том, как он отыщет этого негодяя и каким образом и сколько именно раз будет бить его. Эти мечты всегда сопровождались злостным раздражением и слезами. Восьми лет от роду он прекрасно болтал по-французски и по-английски, с трудом пополам понимал по-русски, ловко гимнастировал и ездил на лошади, грациозно танцевал, стараясь подражать словам и манерам взрослых, отменно хорошо знал, что у *m-me N.* фальшивые волосы, а у *m-lle M.* три вставных зуба, о чем подслушал однажды у кого-то и потом постоянно сплетничал другим; а не знал ни читать, ни писать, и заставить его учиться не было никакой возможности. Сведения его об отечестве простирались, впрочем, настолько, что он знал *qu'il y a un pays, qui s'appelle la Russie, habite par des moujiks*<sup>121</sup>.

Знал он также, что есть на свете *Paris et les provinces*<sup>122</sup>, а когда его спрашивали, что же это за *provinces*<sup>123</sup>, князек отвечал: «*On dit, que c'est Tamboff*»<sup>124125</sup>. Этим и ограничивались пока все его научные познания. Впрочем, ради беспристрастия мы должны сообщить, что и в двадцать лет их прибавилось весьма немного против прежнего. Вообще маленький князек знал много такого, чего дети не должны знать, и не знал того, что все дети обыкно-

---

<sup>120</sup> Сударыня! вы забываете, что я князь Шадурский! (фр.)

<sup>121</sup> Что существует страна, которая называется Россия, населенная мужиками (фр.).

<sup>122</sup> Париж и провинция (фр.).

<sup>123</sup> Провинция (фр.).

<sup>124</sup> Говорят, что это Тамбов (фр.).

<sup>125</sup> Ужасный ребенок (фр.).

венно знают. Это была какая-то тройная смесь пародии на взрослых, *enfant terrible*<sup>126</sup> и барчукского тупоумия. Десяти лет от роду он был сдан на попечение почтенного старца-гувернера, *monsieur Poro* или Сосо\*\*\*\*\*, что, впрочем, совершенно все равно. *Monsieur Poro* был старичок добродушно-почтенного вида, отменной нравственности и без масляной улыбки не мог видеть свежих, розовых щек молодых мальчиков и девушек, что, без сомнения, относилось к его добродушию. *Monsieur Poro* плотно кушал, безмятежно почивал и умеренно водил гулять своего питомца, но – как ни бился и как ни старался – за букварь посадить его не мог. Однажды, возвращаясь к себе в комнату, старец застиг в ней своего воспитанника, который предавался прилежному рассматриванию коллекции игривых картинок с подписями и объяснениями весьма двусмысленного свойства. Старец сначала было испугался, потом принял вид суровый, а потом не выдержал: мгновенная суровость уступила место обычному благодушию, и на лице его заиграла масляная улыбка. Князек, с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазками, стал упрашивать старца прочесть ему подписи, чтобы вполне уяснить себе смысл и значение картинок. *Monsieur Poro* прочесть ему все сразу не захотел, ибо смекнул, что это любопытство и эти литографии могут послужить благим и завлекательным предлогом для обучения молодого князька чтению и письму, и действительно, первый урок был дан им тотчас же по подписям, которые так хотелось узнать питомцу. Старец убедил его никому не говорить об этих занятиях и обещал, если воспитанник сумеет молчать, показать ему впоследствии множество картинок и книжек еще лучше настоящих. Таким образом князь Владимир выучился читать по игривым картинкам.

Ему было не более двенадцати лет, когда он читал уже «*La Justine*» маркиза Сада. Это было одно из первых сочинений, которые прочел он благодаря библиотеке *Monsieur Poro*. С одним из томов «*La Justine*» поймала его однажды сама княгиня Татьяна Львовна.

– Что это у тебя за книга? Как ты смеешь это читать? Кто тебе дал ее?

– *Signor Rigotti*, – резко и смело ответил мальчик, смотря в глаза своей матери.

– Лжешь! не может быть! Я скажу твоему отцу и *monsieur Poro*, какие ты книги читаешь, безнравственный мальчишка! – возмутилась княгиня, ибо *signor Rigotti*, певец итальянской оперы, был в то время близок ее нежному сердцу.

– А вы разве читали ее? – невозмутимо спрашивал юный князек.

– Я не читала, но я знаю!.. Я непременно пожалуюсь и гувернеру и отцу, я все расскажу им! – волновалась княгиня.

– А когда так, так и я расскажу! – возразил князь Владимир.

– Что ты расскажешь, дерзкий мальчишка?

– Вы думаете, я боюсь их? Нисколько не боюсь! А вот я знаю, что у вас с *Риготти*! – нагло ответил он. – Я знаю... я видел... и тоже все расскажу отцу, и... и всем расскажу!

Княгиня, никак не ожидавшая подобной развязки, разрыдалась, подверглась продолжительному припадку истерики, но про «*Justine*» маркиза Сада никому не сказала ни слова.

Двенадцатилетний мальчик понял, что с этой минуты мать до некоторой степени у него в руках, что поэтому он может командовать ею и еще более делать все, что ему угодно. Четырнадцать лет он тайком посещал вместе с добродетельным и на вид пуританически строгим *monsieur Poro* различных героинь загородных балов и места вроде знаменитого *Rue Joubert*, № 4. В эти молодые годы князь Владимир Шадурский был уже развращен совершенно, развращен так, как иному не приходится и в сорок лет развращаться. Словом сказать, это был вполне достойный ученик достойного *monsieur Poro*. Все это, в совокупности с блистательною наружностью, с потворственными восторгами и отношениями к нему окружающих, сделало из князя эгоиста, деспота, вспыльчивого человека, цинически развратного втайне и элегантно-приличного въяве. Никогда не встречая противоречия своим прихотям, он не знал, не понимал, что

<sup>126</sup> Господин Попо или Коко (фр.).

значат слова «нельзя» и «невозможно», – для него все было «можно», все было доступно и достижимо, стоило только пожелать хорошенько. Это убеждение поддерживалось еще более сознанием того, что он богат и знатен. Воспитание и образование свое князь Владимир получил преимущественно за границей – в Париже и в Италии.

К двадцати годам прибыл он, наконец, в Россию, с тем чтобы поступить на службу в кавалерию. Все окружающие его – а он сам более всех – были убеждены, что ему стоит только захотеть, и он весьма легко и удобно сделается чем угодно: и бюрократом, и администратором, и финансистом, и дипломатом, и по любой из этих отраслей непременно займет пост видный и соответственный его званию и положению в свете; но князь Владимир предпочел военную службу, ибо, во-первых, ему более всего нравился блестящий мундир, а во-вторых, – более всего на свете, после себя самого, любил он лошадей, собак и оружие. С протекцией да с помощью известных убедительных аргументов выдержал он кое-как, с грехом пополам, экзамен и надел красивую форму. Форма окончательно развязала ему руки, и вступление свое на жизненное поприще князь Владимир ознаменовал тем, что через полторы недели после приобретения полной самостоятельности проиграл на бильярде десять тысяч серебром да на пятнадцать надавал векселей в разные руки.

Он положительно стал блистать в петербургском обществе. Его кровные лошади и великолепные экипажи красовались на Невском проспекте, на Дворцовой набережной и на Елагинской стрелке – повсюду, где только хотя сколько-нибудь пахло *beau mond'*ом. Толпа приятелей, сеидов и поклонников всегда окружала молодого князя, ибо рада была поесть на его счет у Дюссо, покататься рядом с ним в его лондонском тюльбюри и с независимым видом поглазеть на француженку из его литерной ложи. Князь олицетворял в своей особе тип новейшего великосветского денди военного покроя. К женщинам относился он пренебрежительно и при своем непомерном сластолюбии измерял женские достоинства не чувством и умом, а единственно их стоимостью, количеством бросаемых на них денег. Двадцатипятилетний молодой человек выработал себе какой-то старческий, гнусенький взгляд на эти отношения: он ни разу не любил, ни разу даже влюблен не был порядочно, потому что слишком рано привык покупать себе наслаждения, а брать их чувством не мог, не умел и вообще считал слишком скучным и продолжительным.

Последняя заграничная поездка его, вместе с отцом и матерью, ясно показала этому почтенному семейству, что состояние их приходит в расстройство. Княгиня Татьяна Львовна, которая вернее всех понимала настоящее положение дел, составила в голове своей верный план поправления обстоятельств. Мишенью для своих целей она мысленно избрала дочь господина Шиншеева, уже известную читателям некрасивую девицу, которую мечтала соединить узами законного брака с своим сыном и через то наложить искусными маневрами некоторые узы на состояние Давыда Георгиевича Шиншеева. План атаки был открыт ею князю Владимиру, но этот последний как-то мало обратил на него внимания, хотя и признавал всю его практическую справедливость. Князя Владимира в то время более всего занимала баронесса фон Деринг, которая казалась столь обольстительной двум старцам и в особенности расслабленному гамену. В отношении этой обольстительной особы молодого князя разбирала сильная досада за то, что она видимо отдавала преимущество не ему, а его поврежденному батюшке. Впрочем, молодой князь, не теряя отчасти из виду планов своей матери – в будущем, но не в настоящем, – надеялся на успех и у баронессы фон Деринг.

## V РАУТ У ШИНШЕЕВА

Месяц спустя по приезде Давыда Георгиевича все его знакомые получили великолепно литографированное, на атласной бумаге, краткое послание, приглашавшее их провести вечер в его доме.

Давыд Георгиевич очень любил представительность и блеск, поэтому давал обеды, балы и, кроме своих обычных *jours fixes*<sup>127</sup>, делал иногда большие рауты.

Около десяти часов вечера половина широкой улицы перед его домом сплошь была заставлена рядами экипажей. К ярко освещенному подъезду то и дело подкатывали щегольские кареты, из которых, мгновенно мелькая перед глазом изящной ножкой и блестящей головкой, выпархивали дамы, подобрав свои платья, и тотчас же исчезали в парусине подъезда. Подъезжали и извозничьи кареты-мастодонты, изрыгая из своих темных пастей также хорошеньких женщин; подплетались, наконец, и дребезжащие дрожки несуразных ванек, с которых одиноко и необыкновенно быстро прыгивал какой-нибудь господин, уткнув кончик носа в поднятый воротник пальто, торопился расплатиться со своим автомедонтом и еще проворнее скрывался за парусину, как бы боясь, чтобы кто не заметил его общипанного ваньку. У подъезда важно распоряжались красивые городовые, бородатый дворник и помощник швейцара. Сам же швейцар, особа очень жирная и надменно-важная, с гладко выбритым подбородком, двумя ярусами возвышавшимся над бантом белого галстука, красовался в своем блистательном костюме на внутренней площадке сеней, близ пылающего камина, и при каждом новом посетителе слегка дергал ручку проведенного вверх звонка, выкрикивая имя новоприбывшего.

Тонкое, чуть заметное благоухание еще внизу охватывало обоняние гостя и сопровождало его вверх по изящно-легкой, беломраморной лестнице, убранной дорогими коврами и декорированной древними вазами, статуями, экзотами, цветущими камелиями и целым рядом ливрейных лакеев, неподвижно стоящих в некотором расстоянии друг от друга по широким ступенькам и на двух верхних зеркальных площадках.

Целая анфилада освещенных комнат открывалась с обеих сторон площадок, и в этой анфиладе мелькали черные фраки, шлейфы роскошных платьев, блестящие мундиры, красивые бороды и красивые усы, пышные куафюры и пышные плечи – и носился надо всем этим какой-то смутный, мягкий шелест, в котором мешались между собою и нежный свист шелковых платьев, и разноречивый говор, и легкое звяканье шпор, и где-то в отдалении виртуозные звуки рояля.

Давыд Георгиевич, по приезде из-за границы, в первый раз парадно принимал гостей в своем вновь отделанном доме. Он внутренне очень гордился эффектом, который производит на посетителей это изящное великолепие. Его самого слишком сердечно занимали и радовали переходы от ярко освещенных зал к умеренным гостиным, украшенным настоящими гобеленами, китайскими болванчиками и этрусскими вазами, дорогими бронзами и еще более дорогими картинами. Он любил думать, что понимает толк в искусствах, тратил на искусства огромные деньги, и, действительно, среди дюжинных произведений, купленных им от шарлатанов за настоящих Тицианов, Ван Дейков и Поль Поттеров, красовались и настоящие, неподдельные Гвидо Рени, Дель Сарто, Каламы и др. Почти каждая из них была освещена особо приносивленными для картин лампами, и на каждой великолепной раме неукоснительно присутствовала дощечка с знаменитым именем художника. Но более, чем гостиные во вкусах Людовика XIV, XV, Renaissance и Империи, более чем маленькая комнатка со стрельчатым сводом и раз-

---

<sup>127</sup> Журфиксов (определенные дни в неделе для приема гостей) (англ.).

ноцветным окном, в стиле *Moyeu age*<sup>128</sup>, освещенная сверху одним фонариком, Давыда Георгиевича занимала обширная столовая, вся из резного дуба, в русском вкусе, с полками, где теснились севрские фарфоры, богемский хрусталь, старое, тяжелое серебро и золото в стопах, кубках и блюдах, – столовая, украшенная картинами Снейдерса и медальонами, из которых выглядывали чучела медвежьих, кабаньих, лосьих и оленьих голов. Еще более радовала его диванная в персидском вкусе, мягкая, низенькая мебель которой, составляя резкий переход от дубовой столовой, в соединении с приятным розовым полумраком, господствовавшим в ней, так манила к лени, неге и послеобеденной дремоте. Этой последней в особенности помогал ровный и тихий плеск фонтанов, бывших рядом с диванной, в роскошном зимнем саду Давыда Георгиевича.

Общество, собиравшееся на его обеды, балы и рауты, носило на себе несколько смешанный характер; в нем не было ничего исключительного, ничего кастового, и, несмотря на то, каждый член этого общества непременно желал изобразить, что он привык принадлежать к самому избранному и высшему кругу. Сам Давыд Георгиевич, почитая себя в некотором роде финансовой знаменитостью, любил окружать себя тоже знаменитостями всевозможных родов, но более всего льнул к титулам и звездам, питая к ним некоторую сердечную слабость. Благодаря своему богатству он считал себя человеком, принадлежащим к великому свету. В его гостиных, в его приемной и в кабинете всегда было разбросано несколько визитных карточек с титулованными и великосветскими именами, хотя самые густые сливки аристократического общества, сливки, держащие себя слишком замкнуто и исключительно, вообще говоря, не были знакомы с золотопромышленно-откупным Давыдом Георгиевичем, и только некоторые из пенек от этих сливок, вроде князей Шадурских, удостоивали его своих посещений. Большая же часть титулованных имен, красовавшихся в доме г.Шиншеева, принадлежала людям, посвятившим себя различным промышленным, акционерным и тому подобным спекуляциям. Впрочем, молодые и холостые люди *grand mond'a* почти все, за весьма немногими исключениями, ездили в дом его и упитывались отменными яствами и питьями его стола. Рядом со звездами и титулами вы бы могли здесь встретить разных тузов и знаменитостей брэнного мира сего. Тут ораторствовал о благотельной гласности и либеральных реформах известный патриот Василий Андреевич Штукарев, умилялся духом своим и г.Термаламаки, Эмануил Захарович Галкин рассказывал с чувством, что он «изтинный зловянин». Тут же, скромно покуривая драгоценную сигару, с благодушной иронией улыбался на все это известный барон – царь наших финансов, всегда самым скромным и незаметным образом одетый в черное платье. Давыд Георгиевич с него-то именно и брал пример в своей солидной, постоянно черной одежде. Рядом с этими господами помещались некоторые тузики мира бюрократического, обыкновенно предпочитавшие более одежды пестро-полосатые и всегда следовавшие самой высшей моде, благодаря тому отпечатку лица и правоведения (это не то, что университетский отпечаток), который, не сглаживаясь «по гроб жизни», всегда самоуверенно присутствует в их физиономии, манерах и суждениях. Они с большим апломбом рассуждали в умеренно-либеральном тоне о *self-governement*<sup>129</sup> и сопрано Бозио, о политике Росселя и передавали слухи о новом проекте, новых мерах и новом изречении, *bon-mot*<sup>130</sup> Петра Александровича.

Все эти господа составляли преимущественно публику кабинета Давыда Георгиевича – кабинета, украшенного бюстами некоторых весьма высоких особ и картинами двоякого содержания: одни изображали некоторые баталии, прославившие оружие российского воинства; другие представляли сюжеты более игриво-пикантного свойства. Было даже одно изображение, всегда очень тщательно задернутое шелковой шторкой.

<sup>128</sup> Средних веков (фр.).

<sup>129</sup> Самоуправления (англ.).

<sup>130</sup> Метком слове (фр.).



Комната, отведенная под библиотеку Давыда Георгиевича, представляла зрелище другого рода. Какие книги заключались в этих великолепных дубовых шкапах – Давыд Георгиевич по большей части не ведал; он знал только, что богатые переплеты их стоили очень дорого, да знал еще, что на карнизах шкапов красовались бронзовые бюсты семи древних греческих мудрецов, певца богоподобная Фелицы<sup>131</sup> да холмогорского рыбака<sup>132</sup>. Знать же что-либо более этого Давыд Георгиевич не находил нужным. На огромном овальном столе, занимавшем всю середину этой комнаты, были разбросаны изящные альбомы и кипсеки, краски, кисти и прочие принадлежности живописи. Вокруг стола сидело несколько известных наших художников, которые украшали своими рисунками альбомы Давыда Георгиевича. За плечами каждого из них поминутно менялись группы мужчин и хорошеньких женщин, с любопытством заглядывавших сквозь лорнеты на рождающиеся рисунки наших знаменитостей.

Общество артистов, приглашаемых на всевозможные рауты – по большей части не ради приятных их качеств, но собственно ради увеселения почтеннейшей публики, – делилось на две категории: тут были артисты-боги, которых нужно было упрашивать сыграть что-либо и они милостиво снисходили на просьбы общества; и были артисты-пешки, парии, которым обыкновенно говорилось: «А что бы вам сыграть нам что-нибудь!» – и артист скромно пробирался на цыпочках вдоль стенки, с футляром под мышкой, и с неловким смущением начинает потешать равнодушное и невнимательное общество. Между артистами этой последней категории обыкновенно всегда есть один или два, покровительствуемые хозяином, и всеми ими вообще никто не занимается, а лакеи смотрят на них свысока, причем иногда обносят чаем. Артисты эти, исполнив свою должность, то есть отыграв перед почтеннейшей публикой, робко стушевываются или, как говорят они обыкновенно, «уходят вниз покурить», куда, в случае надобности, за ними посылают человека: «Поди, мол, братец, кликни там артистов».

Но вот наступает некоторый антракт; в обществе залы несколько затих разноязычный говор, как будто источник попугаечной болтовни начинает иссякать понемногу. Минут десять тому назад только что отзвучал «неподражаемый» *ut-diez* Тамберлика, когда он, к общему прочно-сдержанному аханию и восторгу, пропел свое «Скажитэ ей» и «Ее уш нэт», – и казалось, что из-под сводов этой двусветной залы не успел еще испариться отзвук его *ut-diez'a*, как толпа хорошеньких женщин уже обступила рояль и кидает томно-просящие взгляды на одного молодого «любителя» из восточных человеков, с наружностью французского парикмахера, который может петь *a la* Тамберлик и *a la* Кальцорали. И вот упрощенный и умоленный «любитель», поломавшись предварительно перед дамами, начинает петь. Дамы тают и приходят в восторг.

Но не успевает он еще кончить свой плохо спетый романс, как вдруг

Ва-а-зми в ручки пи-и-истале-этик!

– раздается неподдельно-мужицкий голос из соседней гостиной – и вся толпа спешит в эту комнату «посмеяться» рассказам Горбунова из невиданного и только по этим рассказам знакомого ей простонародного быта.

Не увлеченными общим потоком остаются только два графа: граф Скалозуб да граф Редерер – две гениальные и аристократическо-артистические звезды большого света. Подле них пребывают также не увлеченными подсевшие к ним два литератора невеликосветские: один фельетонист, обличающий в демократическом журнале икнувшую губернаторшу, другой – кисло-желчный публицист, карающий в газетах монополию, откупа и аристократизм «с демократическо-социальной точки зрения». Оба они слушают, как граф Редерер (артист, кари-

<sup>131</sup> Поэт Гавриил Романович Державин – автор оды «Фелица» в честь Екатерины II.

<sup>132</sup> Михаил Васильевич Ломоносов.

катурист, бонмотист, поэт и фокусник вместе) и граф Скалозуб (французско-нижегородский литератор) обдумывают экспромтом некоторый сюрприз к отъезду графини Александрины, – сюрприз, заключающийся в некоторой *proverbe*<sup>133</sup> куплетами, танцами, живыми картинами и превращениями, на четырех языках.

– Ах, это очень остроумно, прекрасно, бесподобно и так тонко вместе с тем! – восхищаются и поддакивают два литератора невеликосветские, прислушиваясь к речам двух литераторов великосветских.

– N'est-ce-pas?<sup>134</sup> Вы находите? – откликаются им с благодушной улыбкой два графа.

– Экое абсолютное, китайское тупоумие! Не постигаю, как могут быть у людей подобные кретинические интересы! – шепчет публицист фельетонисту, отходя с ним от двух графов к сигарному столику и пряча незаметным образом в свой карман хозяйскую сигару.

– Аристократишки, баре! уж я ведь хорошо знаю их! – презрительно отвечает фельетонист публицисту и тоже зорким оком своим норовит стянуть хорошую сигару.

«Ва-азьми в ручки пистолетик» производил на публику очень утешительное действие, и только три грации, наши старые знакомки *mesdemoiselles* Шипонины, не были им довольны» *parceque sa sent trop le moujik*<sup>135</sup>. Три грации, коим в сложности было около ста семидесяти лет, так и продолжали именоваться, по преданию, тремя грациями и сохраняли во всей неприкосновенности свои локоны, свою сентиментальную любовь к небесно-голубому цвету и добродетельную целомудренность весталок, почему всё боялись, что их кто-нибудь похитит. Они по-прежнему продолжали сплетничать и страстно посещать общество, хотя уже и не под эгидой своей матушки, по смерти которой с непритворною горестью называли себя всем и каждому «тремя сиротками».

– Как дела? – тихо спросил Бодлевский, улучив удобную минуту и сядя в кресло рядом с баронессою фон Деринг.

– Как видишь, произвела общий эффект, – столь же тихо ответила баронесса, но ответ ее сопровождался такой рассеянной миной и столь равнодушным видом, что можно было подумать, будто она произносит одну из самых общих, ничего не значащих фраз.

Надо прибавить, что этот вечер был первым парадным и официальным выездом баронессы в общество петербургского *beau monde*'a<sup>136</sup>. И действительно, ее красота, соединенная с таким живым умом и любезностью и облеченная в такой восхитительный наряд, произвела общий, весьма замечательный эффект. О ней заговорили, ею заинтересовались, и первый же вечер доставил уже ей несколько весьма хорошо позированных в обществе поклонников.

– А я все более около солидных капиталов, – продолжал Бодлевский. – Нынче мы в ролях практических деятелей дебютировали. Ну, а те что? – прибавил он, незаметно скосив глаза в сторону старого Шадурского, который на другом конце комнаты лорнировал баронессу, стоя рядом с самим хозяином, и, казалось, вел разговор о ней же.

– В паутинке, – коварно улыбнулась она.

– Значит, скоро и мозги сосать можно?

– Скоро, – затянуть только покрепче... Однако здесь не место для таких разговоров, – сухо прибавила баронесса, и Бодлевский почтительно удалился.

---

<sup>133</sup> Пословице (фр.).

<sup>134</sup> Не правда ли? (фр.)

<sup>135</sup> Потому что это чересчур пахнет мужиком (фр.).

<sup>136</sup> Высшего света (фр.).

\* \* \*

Татьяна Львовна Шадурская втайне очень тревожилась. Ее нежное внимание и матерински аристократическая любезность очень тонко были обращены на Дарью Давыдовну Шиншееву. Ей так хотелось видеть ее соединенною узами законного брака со своим сыном, что это желание сделалось, наконец, любимую и заветною мечтою княгини Татьяны Львовны, ставшейся даже при этих мечтах позабыть о своем прирожденном аристократизме. Да и как не мечтать, если через соединение их является возможность привести в хорошее положение свои колеблющиеся дела или, по крайней мере, раз навсегда отвязаться от князя Владимира, который перестанет безвозвратно пожирать родительские деньги на свои прихоти и расходы. Татьяна Львовна знала, как действовать на слабую струнку Дарьи Давыдовны. Дарья Давыдовна была очень некрасива, неловка, неграциозна и до болезненности самолюбива. Самолюбие с честолюбием могли почестся ее отличительными качествами, ибо они же оставались отличительными качествами и ее батюшки, нигде и никогда не разлучавшегося со своим Станиславом. При этих двух свойствах ее души судьба, вдобавок, наделила ее еще весьма влюбчивой и пылкой натурой. К сожалению, Дарья Давыдовна постоянно влюблялась в столь аристократически блистательных молодых людей, что ни один из них не обращал на нее никакого внимания. И самолюбие Дарьи Давыдовны вечно уязвлялось. В князя Шадурского она почему-то не влюбилась, но выйти за него замуж была бы весьма не прочь – для приобретения соответственного положения в большом свете. Не прочь бы от этого был и коллежский советник Шиншеев. Одна беда: молодой князь Шадурский, на их взгляд, решительно не оказывал никакой склонности к женитьбе, Дарье же Давыдовне дарил свое внимание ровно настолько, насколько требовали приличия, ибо все оно было поглощено надменно-холодною красотою баронессы фон Деринг, – красотою, которая под своей ледяной оболочкой заставляла иногда предполагать нечто противоположное. Вот это-то обстоятельство – это чересчур исключительное внимание – и тревожило так княгиню Шадурскую. Оно отдаляло осуществление ее заветных целей. Княгиня не терпела баронессу, не терпела за ее красоту, еще не успевшую поблекнуть, за своего мужа и особенно за сына, отдававших ей такое исключительное предпочтение, а между тем она принуждена была принимать ее, сама ездить к ней и оказывать самую дружескую любезность, ибо сердце Татьяны Львовны расположилось чересчур уж нежно в пользу брата баронессы – Владислава Карозича. Все эти обстоятельства в общей сложности и тревожили ее так сильно.

Княгиня случайно сидела в уединенном уголке одной из гостиных, откуда могла через растворенную дверь очень хорошо обозревать все, что происходило в смежной комнате, где помещалась ее антипатия – баронесса фон Деринг, тогда как самое ее совершенно заслонял от посторонних глаз роскошный трельяж, весь опутанный картинно-ползучими растениями. Ей очень хотелось, чтобы в ее уединение заглянул Карозич, но Карозич не догадывался о желании княгини, которая вдруг, обок с собою, услышала за трельяжем весьма интересный для нее разговор. По голосам она узнала графа Редерера и графа Скалозуба.

– Полюбуйся-ко, это очень интересно, – говорил один другому, подходя к двери. – Оба Шадурские – старец-молокосос и молокосос-старец – изволят таять перед баронессой.

– Ах, это в самом деле очень любопытно! – отозвался другой со смехом. – Вот прекрасный сюжет для водевиля! Напишем-ка! Водевиль под названием: «Два ловца за одним зверем, или Папенька и сынок – соперники».

– Bravo! – подхватил Скалозуб. – Брависсимо! Я сочиню куплеты, ты сделаешь музыку, и поставим у княгини Александрины на сцену.

– Но ведь все узнают, догадаются, – возразил Редерер.

– Пусть узнают! Зато смеху-то сколько будет, смеху! Ведь это очень комично!

И два графа солидно прошли в смежную комнату продолжать на более близком расстоянии свои наблюдения для будущего водевиля.

Слова обоих графов с первых же фраз их разговора словно ножом резнули по сердцу Татьяну Львовну. Она бросила глаза в сторону баронессы и с горечью увидела подле нее своего супруга, оперевшегося на руку князя Владимира. Ей сделалось жутко, тем более жутко, что она очень хорошо понимала, насколько, в самом деле, было комического в этом соперничестве сына и батюшки. Намерение двух графов касательно водевиля побудило ее серьезно и немедленно переговорить со своим сыном.

– Я отнимаю от вас одного поклонника, – любезно улыбнулась она баронессе, подав руку князю Владимиру и отводя его от красавицы.

Красавица ответила столь же любезным кивком головы, который в сущности означал, что ей это решительно все равно, а князь Владимир не без удивления вскинул вопросительный взгляд на свою матушку.

– Мне надо серьезно переговорить с тобою, – тихо сказала она, уводя его по анфиладе комнат к зимнему саду, который представлял более удобств для интимных разговоров. – Ты ставишь себя в весьма неприятное и смешное положение, – продолжала княгиня, приняв озбоченно-строгий и холодный вид. – Над князьями Шадурскими, слава богу, до сих пор никто еще не смеялся, а теперь начинают, и имеют полное право. Я не назову тебе, кто говорил, но вот что я слышала сию минуту.

И она от слова до слова передала ему разговор двух графов. Молодого князя сильно так переделернуло. Он был и взбешен и сконфужен в одно и то же время.

– У тебя ни на грош нет самолюбия, – заключила княгиня уже с некоторою желчью в голосе. – Она на тебя и внимания не обращает, а ты, как мальчишка, вздыхаешь перед нею! Это стыдно, князь! Я, признаюсь, была о вас лучшего мнения.

Княгиня договаривала свою грозную проповедь, выходя из темной, извилистой аллейки лавровых и миртовых деревьев. Молодой князь, совершенно уничтоженный, слушал ее, закусив свою губу и немилосердно комкая в руке замшевую перчатку. Вдруг на одном из поворотов, в самом устье этой аллейки, оба они невольно остановились в приятном изумлении.

Шагах в пятнадцати расстояния, на чугунной скамейке, сидела незнакомая им женщина. Она, очевидно, ушла сюда освежиться и отдохнуть от жара залитой огнями залы. Беспредельное, тихое спокойствие ясно выражалось в ее полуутомленной улыбке, в ее больших голубых глазах и по всей ее непринужденно-грациозной позе. По обеим сторонам скамейки и вокруг небрежно закинутой головки молодой женщины необыкновенно эффектными пятнами на темном фоне окружающей зелени выглядывали белые венчики нарциссов и лилий. А над этой головкой в виде не то навеса, не то какого-то фантастического ореола, красиво рассыпались прихотливо-зубчатые листья экзотов – пальм и папирусов, бананы и музы, перевитые игриво-смелыми побегами цветущих лиан, кисти которых тихо колебались в воздухе, спускаясь очень близко к головке отдыхавшей под ними женщины. Голубые лучи от матового шара солнечной лампы, спрятанной в этой купе растений, пробивались сквозь просветы широких, длинных и лапчатых листьев и падали необыкновенно прихотливой, неясной сеткой на лицо и бюст красавицы, черные волосы которой, несмотря на свое роскошное обилие, были зачесаны совершенно просто, и вся она, такая чистая и прекрасная, среди этой зелени напоминала античную Дриаду – как та мраморная нимфа, на которой дробилась крупными алмазами струя фонтана и которая легким изгибом своего тела и изящным поворотом головы, казалось, хотела любопытно заглянуть в лицо отдыхавшей красавице.

Шадурские с минуту оставались в том молчаливом онемении, которое всегда производит на человеческую душу внезапный вид необыкновенной красоты. Оба они, скрытые в тени миртовых ветвей, не были видны.

– Что, какова? – самодовольно прошептала княгиня.

Шадурский только головой покачал, с дилетантским наслаждением рассматривая сквозь *pinse-nez*<sup>137</sup> незнакомую женщину.

– Кто это? – едва слышно спросил он.

– Не знаю и никогда не встречала.

– Странно... Une femme inconnue<sup>138</sup>... Очень странно!.. Надо будет узнать непременно!

– А как хороша-то?

– Изумительно!

– А кто лучше: баронесса или она?

– Какое же тут сравнение! – ответил князь, пренебрежительно двинув губою. – И как это я до сих пор не заметил ее! *Vraiment c'est un sacrilege de ma part!*<sup>139</sup> – продолжил он, тихо поворачивая назад в темную аллею, чтобы появлением своим не потревожить уединенный отдых красавицы.

– Послушайте, господа, не знаете ли вы, кто эта дама? – спрашивал он полчаса спустя у двух своих приятелей, когда поразившая его особа появилась в зале, под руку с Дарьей Давыдовой.

– Знаем, – отвечали в голос оба приятеля, из которых один в своем кругу звался просто Петькой, а другой, с академическим аксельбантом, – князем Рапетовым.

– Кто же она? Скажите мне, бога ради!

– Никто! – с глупым нахальством прохотал Петька.

Рапетов серьезно покосился на него.

– Ее зовут: Юлия Николаевна Бероева, – сказал он.

– В первый раз слышу, – заметил Шадурский.

– Не мудрено: *elle nest pas des notres*<sup>140</sup>, – объяснил Петька. – Муж служит чем-то у Шиншеева, а Шиншеев, говорят, ухаживает за женою и на вечера свои приглашает, как декорацию, ради красоты ее.

– *Donc e'est une conquete facile!*<sup>141</sup> Примем к сведению, – фатовато заметил Шадурский.

– Ну, не совсем-то «facile»!<sup>142</sup> – возразил Рапетов. – Вы слишком скоры на заключения, любезный князь, позвольте вам заметить.

– Это почему же? – с усмешкой обернулся Шадурский. – В вашем тоне как будто маленькая ревность есть! – шутливо прищурился он на Рапетова.

– Ревности нет никакой, а если хотите знать, почему вы тут ничего не добьетесь, мой милый ловелас, так я вам объясню, пожалуй.

– Очень интересно послушать.

– Госпожа Бероева – честная женщина; любит немножко свой очаг, много своего мужа и бесконечно своих детей, – отчетливо-докторальным тоном проговорил Рапетов.

– И потому? – снова усмехнулся Шадурский с самоуверенным задором.

– И потому – ухаживайте-ка вы лучше за баронессой фон Деринг! Это, кажись, благонадежнее будет.

– Благодарю за совет! – с колкою сухостью пробормотал князь Владимир. – Только мне сдается, что через несколько времени и я, в свой черед, посоветую вам – не давать опрометчивых советов.

– Это, кажется, вызов? – спокойно спросил защитник Бероевой.

---

<sup>137</sup> Пенсе (фр.).

<sup>138</sup> Неизвестная женщина... (фр.).

<sup>139</sup> Поистине, это преступление с моей стороны! (фр.)

<sup>140</sup> Она не из наших (фр.).

<sup>141</sup> Итак, это легкая победа! (фр.)

<sup>142</sup> Легкая (фр.).

Князек немного осекся; он совсем не ожидал подобного оборота, ибо вызова и в помышлении своем, oprичь романов, никогда не имел.

– Какой там вызов! Есть из-за чего! – постарался улыбнуться он с натянутой небрежностью. – Я только говорю про то, что не прочь на деле доказать вам... ну хоть *la possibilite d'une conquete*<sup>143</sup>.

– Коли есть охота – не препятствую, – коротко поклонился ему Рапетов.

– А я пари держу, что ничего из этого не выйдет, – вмешался Петька. – В наш положительный век женщины, брат, только на карман полагаются, – пошло сострил он и сам расхохотался.

Самолюбие князя было сильно задето, в особенности же подстреканиями Петьки.

– Пари? Идет! на сколько? – предложил он, протягивая ему руку.

– Ужин с квасом у «Дюсы», – сторговался тот.

– Ладно! Князь Рапетов, разнимите руки.

– Можете разнять сами, господа, – ответил Рапетов с заметною сухостью. Между такими порядочными и честными людьми свидетелей не надо, – добавил он, отходя от приятелей.

Пари состоялось без его посредничества.

\* \* \*

– Граф Каллаш! – возгласил человек, стоявший у главного входа в большую залу.

При новом и почти неизвестном, но громком имени многие взоры обратились к дверям, в которые должен был войти новоприбывший. Легкий говорок пробежал между присутствующими:

– Граф Каллаш...

– Кто такой?..

– Венгерское имя... Как будто что-то слышал.

– В первый раз появляется?

– Что это за Каллаш? Ах, да, это одна из старых венгерских фамилий!..

– Интересно!..

Подобные вопросы и замечания беглым огнем перекрещивались между собою в многочисленных группах гостей, наполнявших залу, когда в дверях ее появился молодой человек...

Он замедлился на минуту, чтобы окинуть взором окружающую обстановку и присутствующих; затем, как бы чувствуя замечания и взоры, устремленные на его личность, но совершенно «игнорируя» их, без застенчивости, ровной и самоуверенно-скромной походкой прошел через зал; Давыд Георгиевич с приятной улыбкой поспешал ему навстречу.

Люди опытные, привыкшие к обществу и приглядевшиеся к жизни и нравам большого света, часто по первому шагу очень верно судят о той роли, которую будет играть человек в среде их. Люди опытные по первому взгляду молодого человека, по первой походке его, по тому, как он только вошел в залу, решили уже, что роль его в свете будет блистательна, что не одно женское сердце затрепещет впоследствии при его появлении и не одна-то дендическая желчь взбудоражится от его успехов.

– Как хорош! – смутным шепотом проносилось между дамами. Мужчины по большей части молчали, некоторые только пощипывали кончик бакенбарда, и все вообще делали вид, что не замечают нового гостя. Одно уже это могло почестся блистательным началом самого верного успеха.

Действительно, наружность его нельзя было оставить без внимания; между тысячью молодых людей он все-таки был бы замечен. Высокий, стройный рост и необыкновенная сораз-

---

<sup>143</sup> Возможность победы (фр.).

мерность всех членов так и напрашивались на сравнение с Антиноем. Матовая бледность постоянно была разлита по его красивому, немного истомленному лицу. Высокий лоб, над которым от природы вились заброшенные назад черные волосы, и тонкие сдвинутые брови носили печать страстно-тревожной и постоянно напряженной мысли. Цвет глубоких, немного запавших глаз определить вполне было невозможно. Это были какие-то темные глаза, которые порою загорались южно-лихорадочным огнем, чтобы вслед за тем потухать и заволакиваться тем неопределенным туманом, сквозь который, кажется, чуешь глубину бесконечную. Небольшие усы и небольшая же узкая борода отчасти скрадывали неприятно саркастическую улыбку, сдержанно мелькавшую иногда на его сладострастно очерченных губах. Естественная грация хороших манер и вполне скромный, но необыкновенно изящно сделанный костюм довершали наружность молодого человека, который – несмотря на всю свою кажущуюся скромность, где таилось, однако, глубокое, гордое сознание своей силы и достоинства, – несмотря на эту кажущуюся мерку под общий ранжир, на желание незаметно затеряться в толпе, – был все-таки заметен и оригинален. Таково уже, значит, магнетическое влияние силы и красоты человеческой. Лет его, точно так же как и глаз, определить вполне было невозможно – казалось около тридцати, но могло быть гораздо меньше или значительно больше. Он сохранил наружность человека молодого, но с тем благородным отпечатком, который показывал ясно, что тут было пережито, перечувствовано и переиспытано вволю. Более тонкий психолог и физиономист в этом холодном, мало выдающем свои помыслы лице, быть может, разгадал бы, вместе с сильной волей и непреклонной энергией, натуру гордую, упорно-страстную, неблагодарную, которая берет от людей все, что захочется, требует от них это все, как должное, и за то даже головой никогда не кивнет им. Таков был граф Николай Каллаш.

Граф явился совершенно новым светилом в петербургском обществе, на горизонте которого появился не более недели. До этого вечера его видели только два раза в опере да раз на Дворцовой набережной. Проходя по зале с Давыдом Георгиевичем, он то кланялся кивком головы, то протягивал руку шести-семи личностям, с которыми познакомился дня за два, у Сергея Антоновича Коврова, где сошелся с ним и г.Шиншеев, езжавший к Коврову играть в карты. Давыд Георгиевич тотчас же представил его своей дочери и некоторым из самых высоких звезд и знаменитостей обоего пола, на которых к концу вечера граф произвел самое выгодное впечатление. С Тамберликом он очень разносторонне говорил на итальянском языке об опере; с одним из *attache* английского посольства, который неизменно показывается всюду с неизменным стеклышком в глазу и слишком бесцеремонными позами, весьма остроумно рассуждал по-английски о последней карикатуре Понча, с графом Редерером и Скалозубом – по-французски о русской литературе и могуществе русской державы; с тузами мира финансового вставлял весьма практические замечания о каком-то новом проекте какого-то общества. Наконец, блистательным образом разыграл ноктюрн собственного сочинения, причем некоторые артисты-боги остались приятно изумлены, а дамы даже совсем забыли своего идола из восточных человеков; после ноктюрна шутя набросал в альбоме премилый эскиз в какие-нибудь четверть часа; за эскизом прошел в комнату, где на зеленом поле шла значительная игра, шутя поставил значительную карту и проиграл; проигравши, скромно вынул из бумажника пачку ассигнаций, отсчитал, что было нужно, доложил еще часть золотом и равнодушно удалился от стола, словно бы подходил туда не более как выпить стакан лимонада.

Граф Каллаш – новое лицо с аристократическим именем, граф умен, остер, образован, граф так талантлив и так хорош собою, и, наконец, граф так богат, так мило, так джентльменски умеет проигрывать. Граф не мог не произвести самого блестящего впечатления, и сильнее всех это впечатление отразилось на некрасивой Дарье Давыдовне, которой он оказывал предпочтительное внимание при каждом удобном, подходящем случае.

\* \* \*

Княгиня Шадурская спустя несколько времени после разговора с сыном вернулась на свое старое уединенное место – за зелень трельяжа. Вскоре подле нее появился Бодлевский. Он был не в духе, по временам досадливо пощипывал бороду и явно старался принять угрюмо-рассеянный вид, отвечая княгине только односложными словами. Это, наконец, ее встревожило. Беспокойство и маленькая ревность копошились в ее сердце.

– Что с вами? Отчего вы так рассеянны, так не в духе? Не скрывайтесь, отвечайте мне! – говорила она, устремляя на него с нежным участием свои влюбленные, хотя и не юные взоры.

Бодлевский только пожал плечами.

– Отчего вы не были вчера там... в Морской? Я ждала вас, – продолжала княгиня с беспокойно-ревнивой ноткой в голосе. – Послушайте, Владислав, вы два раза уже не были там... Я знаю... Я уже... надоела вам, не правда ли?

Бодлевский вскинул на нее притворно удивленный взгляд; княгиня горько улыбнулась.

– Вы удивляетесь моим словам... удивляетесь, конечно, до какого унижения может дойти женщина, – с горечью говорила она. – Я знаю, я не молода, мне уже тридцать семь лет (княгине было за сорок пять), поэтому вам кажется смешною любовь старухи... Вам нравится кто-нибудь лучше, моложе меня... Слушайте, не скрывайтесь!

– Перестаньте, княгиня! в мои года позволительно иметь более прочные привязанности, – ответил Бодлевский, поцеловав ее руку.

Лицо княгини просияло.

– Ну, так что же! О чем вы задумываетесь, что тревожит вас? – пристала она с большей энергией.

– Мало ли что может тревожить меня! – загадочно проговорил Бодлевский, уклоняя в сторону неопределенный взгляд.

– Скажите, откройте мне, – настаивала она.

– К чему же? Это вас несколько не касается.

– Мне кажется, я имею некоторое право на вашу откровенность, – с укорливой улыбкой заметила Татьяна Львовна. – Наконец, я хочу, я требую, чтобы вы сказали мне.

Бодлевский молчал, как будто обдумывая что-то и словно борясь сам с собою.

– Я жду, – настойчиво повторила княгиня.

– Извольте, если это вас так интересует! – выговорил он наконец с тем полным вздохом, который иногда обозначает у людей решимость. – Видите ли... я проигрался в карты, а мой банкир не прислал еще Капгеру телеграмму на выдачу мне денег... Я, впрочем, уже телеграфировал ему, но... ответа нет... Вот что тревожит меня, и вот почему вчера я не был там, – заключил Бодлевский, стараясь не глядеть на княгиню.

– Только-то и всего? – удивилась она. – И вы молчали, вы не могли прямо сказать мне тотчас же!.. Сколько вы проиграли?

– Десять тысяч, – сквозь зубы процедил Бодлевский.

– Приезжайте завтра туда, в магазин; около двух часов я привезу деньги.

– Но, княгиня...

– Без всяких но!.. Я не люблю возражений... – сказала она с такой кокетливостью и с такой милой миной, что Бодлевскому не оставалось ничего более, как только вновь поцеловать ее руку, в знак своего полного согласия.

Это были первые деньги, добытые им от княгини.

«Экой дурак! не хватил цифры побольше! – рассуждал он мысленно, слушая влюбленные речи пожилой красавицы. – Экой дурак, а она бы дала непременно! Впрочем, мое от меня не уйдет и впоследствии», – успокоительно заключил он свое самоугрызение.



\* \* \*

Молодой Шадурский изъявил Давыду Георгиевичу желание быть представленным Бероевой. Г.Шиншеев тотчас же исполнил это желание, и князь Владимир через полчаса успел уже надоест ей до зевоты своей пошло-ловеласовской болтовней. Князь Владимир помнил, что перед ним женщина «не его общества», и потому отчасти держал себя не совсем так, как стал бы держаться перед особой своего круга. Бероева это поняла и раза два довольно тонко оборвала юного ловеласа, но именно потому, что это было тонко, юный ловелас не домекнулся о настоящем значении ее слов или не желал домекнуться. Петька, не перестававший наблюдать за своим приятелем, от души радовался его неукладу, предвкушая уже наслаждение выигранного ужина. Это только бесило молодого Шадурского. Зовок Бероевой и случайно пойманная при этом ирония во взгляде князя Рапетова, наконец, торжествующая улыбка Петьки, кося его самолюбие, в то же время разжигали до злости настойчивое желание добиться своей цели.

– Так или иначе, рано или поздно, но я выиграю пари! – говорил он Петьке, стараясь решительной самоуверенностью тона прикрыть вопль самолюбия и донимавшее его бешенство.

– А я уж было думал, что ты после кораблекрушения повезешь меня кормить ужином, – со вздохом обманутой надежды заметил ему Петька.

\* \* \*

– Обделывай скорее свои дела, Наташа, обделывай! – самодовольно потирал руки Бодлевский, уезжая в карете со своей сестрой, баронессой фон Деринг, с шиншеевского раута. – Я тебя пораду, – говорил он, – завтра мы начинаем осуществлять наши проекты: десять тысяч у меня в кармане!

– Как так?... – изумилась Наташа.

– Очень просто: старуха Шадурская к двум часам привезет их к генеральше фон Шпильце.

Баронесса, вместо ответа, обвила руками шею Бодлевского и поцеловала его в лоб.

## VI КЛЮЧИ СТАРОЙ КНЯГИНИ

По Большой Подъяческой улице уже несколько дней сряду прохаживался неизвестного звания человек и все останавливался перед воротами одного и того же каменного дома. Подойдет, поглядит, нет ли билетов с известною надписью «одаеца комната», – видит, что нет, и пройдет себе далее. Неизвестного звания человек аккуратно два раза в день совершал свои экскурсии по Большой Подъяческой улице: пройдет раз утром и не показывается до вечера; пройдет раз вечером и скроется до следующего утра. Наконец, на седьмые или восьмые сутки, труды хождений его увенчались успехом. У ворот болтались, прикрепленные кое-как жеваным мякишем хлеба, две бумажки. Одна гласила, что «одаеца квартера о двух комнатах с кухней», а другая изображала об отдаче «комнаты снебелью ат жильцов». Прочтя это извещение, неизвестный человек тотчас же повернул назад и быстро направился к канаве, куда, очевидно, влекла его настоящая причина восьмидневных хождений. Эта настоящая причина привела его в Среднюю Мещанскую улицу, под ворота грязно-желтого, закоптелого дома, где безысходно пахло жестяною посудой и слышался непрерывный стук слесарей и кастрюльщиков. Означенная причина заставила его подняться в третий этаж по кривым, обтоптаным ступеням темной, промозгло-затхлой каменной лестницы и войти в общипанную дверь небольшой, но скверной квартиры, убранной, однако, с неряшливым поползновением на комфорт. По всему заметно было, что квартира служит обиталищем особы, не отличающейся целомудренностью своих привычек.

– Кто там? – послышался резко-сиплый, неприятный голос женщины из-за притворенных дверей другой комнаты, откуда разило смешанным запахом цикория, зажженной монашенки и табачищем.

– Все я же-с! – крикнув, ответил неизвестного звания человек.

– А, Зеленьков! Войди сюда!

– Оно самое и есть: Иван Иванович господин Зеленьков! – проговорил тот, входя с кабацким разлетцем, потряхивая волосами, подергивая плечами и вдобавок подмигивая глазом, что в сложности выходило препротивно.

– Что, пес этакой! – с ругательной любезностью обратился к нему сорокалетний нарумяненный лимон в распахнутом шелковом капоте и с крепкой папироской в зубах. – Опять, подика, ни с чем пришел?

– Ан вот-с нет, коку с соком принес! – поддразнил языком Иван Иванович.

– Говори дело: есть билеты?

– Пара! – крикнул господин Зеленьков и с торжествующим видом вытянул два свои пальца к носу нарумяненного лимона.

– Слава тебе, тетереву! – с удовольствием улыбнулся лимон. – А то уж мне куды как надоело ходить-то с докладами каждое утро! Подходящее, что ль? – обратился он к Зеленькову.

– Самая центра! потому как одна от жильцов комната при небели, а другая – фатера на всю стать, с кухней и две комнаты при ней.

– Ладно! Это, значит, годится, – сказал лимон и, зажегши с окурка новую папиросу, принялся, размахивая руками, шагать по комнате, тою особенной походкой, с перевальцем, которая у особ подобного рода называется «распаше». Иван Иванович тоже вынул из кармана обсопанный окурочек сигарки, очевидно, про запас припрятанной, подул на него, закурил и небрежно расселся на линялом штофном диване.

– Таперича ты вот что, – заговорил лимон, делая свои соображения, – в эфтим самом доме живет...

Неопрятная особа, остановившись на этих словах, подошла к туалетцу и, вынув из ящика клочок бумаги, прочла написанное на нем.

– Живет Егор Егорыч Бероев, а у него жена Юлия Николаевна, – продолжала она. – Так ты вот что, как будешь нанимать квартиру, либо комнату там, что ли, старайся вызнать наперед, по какой лестнице живет этот самый Бероев, и коли квартера придется по той самой лестнице, бери ее бесприменно.

– Значит, фатеру брать? – спросил Иван Иванович.

– Фатеру, либо комнату – это один черт выходит; платеж ведь не твоего кармана дело, так и рассуждать тебе нечего. Ты, главное, старайся узнать, по какой лестнице; а там, коли бог поможет на наше счастье сиротское, что придется эта квартера по одной лестнице, так ты и занимай ее сразу.

– Это мы, Сашенька-матушка, можем; капиталу в голове настолько-то хватит! – похвалился Зеленьков, потряхнув волосами.

– Опосля этого, – внушала Сашенька-матушка, – как ты переедешь туда, говори всем, что был господский человек; господа, значит, вольную написали, и теперь, как ты при своем капитале состоишь, так хочешь заняться по торговой части.

– Это столь же очинно можно! – согласился Иван Иванович. – Коли господский, так и господский, я не перечу. Оно к тому же у меня и рожа ничего... как следует быть... одно слово – холуйственная-с, – так это сюда же дело подходящее и, значит, нам на руку, – говорил Зеленьков, охорашивая перед зеркалом свои белобрысые жесткие усы, придававшие его физиономии действительно нечто ухарски-лакейское и именно холуйственное.

– Потом, – продолжала Сашенька-матушка свои наставления, – сойдишь ты мне бесприменно в приятном знакомстве с прислугой этих самых Бероевых; коли там куфарка либо горничная – сам уж будешь видеть, – так ты постарайся до марьяжу знакомство довести, чтоб она, значит, к тебе ходила бесприменно в гости; подарков да кофиев не жалея, потому – опять же, говорю, не твоего карману дело. Ты только знакомство амурное своди поскорей, а я к тебе теткой на новоселье приеду и навещать стану, и ты ко мне каждый день в аккурат являйся с лепортом насчет делов этих самых. Ну, вот тебе и все пока! А это на задаток, – заключила она, вручив Ивану Ивановичу трехрублевую ассигнацию. Иван Иванович философски посмотрел на зеленую рубашку ассигнации и горько улыбнулся.

– Александра Пахомовна! – заговорил он униженно-обиженным протестом. – Что же это такое значит? Какой же я такой выхожу вольноотпущенный человек и при своем капитале состою, а костюмчика по званию своему не имею – и сейчас всякий меня мазуриком обзовет. А вы взгляните-с: ведь, сюртучонок-то у меня – масляница! весь засалимшись, словно резиновый непромокаемый, лоснится. Так это на что же похоже-с?

Александра Пахомовна с серьезным видом оглядела весьма неказистый костюм господина Зеленькова.

– И теперича вы знаете, – продолжал господин Зеленьков, – что я завсегда как вам, так и их превосходительству по гроб жисти своей преданный раб, и о костюмчике не для себя собственно выговариваю; потому мне это дело не стоящее, мне все равно, в чем ни ходить: Зеленьков и в рогожке щеголем будет и всегда будет – «Иван Иванович Зеленьков», а костюмчик пристойный, собственно по вашему же делу, требуетца – так вы подумайте-с и на гардероп мне вручите.

Александра Пахомовна подумала и вручила на гардероб три пятирублевых бумажки, с внушением не пропить их.

Господин Зеленьков не без достоинства ответил, что он дело свое завсегда понимать может и, откланявшись с обычно-ухарскими ужимками, направился на Толкучку – покупать себе новое платье.

В тот же самый день, к шести часам вечера, он переехал в комнату, отдающуюся от жильцов, которая, на сиротское счастье Александры Пахомовны, пришлась как раз над квартирой Береевых.

\* \* \*

Это все совершилось спустя две недели после раута Давыда Георгиевича Шиншеева, а побудительной причиной к совершению послужили нижеследующие обстоятельства.

Князь Владимир Шадурский провел скверную ночь: уязвленное самолюбие лишало его сна, взбудораженная досада и до детскости капризная, избалованная настойчивость в своих желаниях, — настойчивость, в этом случае пока еще совершенно тщетная, бессильная, не давали ему ни минуты покоя; он все думал, как бы этак гласно, героически, донжуански достичь своей цели, чтобы натянуть нос и Рапетову, и Петьке, — и все-таки ничего не выдумал...

Между тем полнейшая невозможность встретить в скором времени Берееву, очевидный неуспех у нее, слишком заметная, даже как будто презрительная сухость князя Рапетова и ежедневно возрастающее подтрунивание Петьки заставили его через три-четыре дня решиться на последнее, слишком рискованное средство: он поехал к генеральше фон Шпильце. Генеральша обещала уведомить его о результатах, и на другой день утром князь Владимир получил письмо лаконического содержания, — в нем значилось только шесть письменных знаков:

2000 р.с.

Князь, не думая ни минуты, схватил перо и на той же бумажке написал: «Согласен». Бумажка с тем же самым посланным отправилась в обратное путешествие, а господин Зеленков получил приказание выжидать объявления о квартирах у ворот указанного ему дома.

## VII «НА ЧАШКУ КОФИЮ»

Иван Иванович Зеленков благодушествовал. Он уже около месяца занимал свою «комнату снебилю», а хозяйка его апартамента – курьерская вдова Троицына – оказывала ему всякое уважение, потому что Иван Иванович Зеленков при самом переезде своем в новое помещение вручил ей сразу вперед за месяц свою квартирную плату. Это обстоятельство, паче слов самого Зеленкова, убедило курьерскую вдову Троицыну, что постоялец ее – человек отменный, точный и взаправду при капиталах своих состоит. Иван Иванович казался ей истинным щеголем, да и самому себе таковым же казался: он носил набекрень пуховую шляпу вместо прежней потертой фуражки; драповая бекеша с немецким бобриком предохраняла от стужи его брненное тело, которое в комнате украшалось темно-зеленым сюртуком с отложными широкими бортами и металлическими пуговицами, шелковым жилетом и широкими панталонами невыразимо палевого цвета. Иван Иванович аккуратно каждое утро посещал мелочную лавочку, где проводил полчаса и более в приятных разговорах с приказчиком. Приказчик тоже оказывал Ивану Ивановичу уважение и удовлетворял его расспросам. Всем петербургским жителям уже давным-давно известно, что мелочные лавочки служат своего рода клубами, сборными пунктами для всевозможной прислуги. Иван Иванович Зеленков успел заслужить благоволение и от этих посетителей, ибо рассказывал им разные истории, балагурил и иногда почитывал «Пчелку». Зоркое око его вскоре заприметило между многочисленными посетителями курносую девушку Грушу, отправлявшую обязанности прислуги у Бероевых. Курносая девушка Груша, солдатская дочь, являла собою вполне порождение Петербурга: она могла быть и горничной, и кухаркой, и белошвейкой, и всем чем угодно, и в сущности ничем. Хотя курносая Груша никакими особенно приятными качествами души и наружности не отличалась, однако Иван Иванович начал преимущественно перед нею «точить свои лясы». Курносая Груша сначала ответствовала молчанием, пренебрегала лясами Ивана Ивановича, отвертывалась от своего искателя, а потом, видя такое его постоянство, начала улыбаться, отвечать на лясы лясами же, и наконец мягкое сердце ее не выдержало. Приятные качества Ивана Ивановича вполне победили курносую Грушу, особенно, когда он, догнав раз ее на лестнице, подарил шелковый фуляр, а в другой – золотые сережки. Груша вдруг ощутила потребность более обыкновенного подыматься вверх к курьерской вдове Троицыной то за одолжением спичками-серинками, то за угольками. Наконец она появилась и в апартаментах гостеприимного Ивана Ивановича. Иван Иванович с тех самых пор, как уловил в свои сети некрепкое, но доброе сердце девицы Груши, и сам несколько изменился: он по утрам, перед тем как отправляться к Александре Пахомовне с отчетом о своих действиях, неукоснительно забегал в цирюльню, где приказывал брить свою бороду, уснащать гонруазом усы и покруче завивать коками свои белобрысые волосы. Разноцветные галстуки также стали принадлежностью его костюма. Словом сказать, грязненький Иван Иванович Зеленков преобразовался в совершенного сердцеда ради курносой девушки Груши.

Однажды утром он встретился с нею в мелочной лавочке и сказал с поклонцем:

– Послушайте, Аграфена Степановна, как я собственно желаю решить судьбу насчет своего сердца, так не побрезгуйте нониче ко мне на чашку кофию – притом же моя тетенька будут.

– Очинно приятно, – отвечала Груша и обещала быть беспременно.

Когда к шести часам вечера она вошла к господину Зеленкову, комната его уже представляла вполне праздничный вид. На окошке не валялось ни сальных огарков, ни оторванных оловянных пуговок, ни сапожной щетки, ни даже полштофов, – все это было выметено, вычищено и запрятано куда-то. Перед высокоспинным волосяным диваном стоял покрытый расписной салфеткой стол; на столе – самовар с кофейником, сдобные булки с сухарями, селедка и

огурцы с копченой колбасой, пряники и орехи с малиновым вареньем. Все это было разложено на тарелках, между которыми возвышались штоф и бутылка.

На диване восседала Александра Пахомовна, одетая скромнее обыкновенного, хотя и с неизменной папироской в зубах. Иван Иванович почтительно сгнулся перед нею на стуле, уткнув между колен свои сложенные пальцы.

– Вот-с, тетенька, и они-с! позвольте рекомендовать, – с торопливою развязностью вско-чил он при входе Груши.

– Честь имею представить, – продолжал Зеленков, расшаркиваясь и размахивая руками, – Аграфена Степановна, очень хорошие девицы, а это – моя тетенька!

Тетенька с величественной важностью поклонилась Аграфене Степановне, а Аграфена Степановна очень сконфузилась и не знала, как сесть и куда девать свои руки.

– Садитесь, пожалуйста! без церемонии! – шаркал и лебезил Иван Иванович. – Чем угощать прикажете? Тут всяких питаньев наставлено, – кушайте-с!

Обе гости тяжело откланивались, но к питаниям не прикасались.

– Тетенька-с!.. Аграфена Степановна! Сладкой водки не прикажете ли-с, али тенерифцу? Выкушайте рюмочку, это ведь легонькое, самое дамское!

Гости жеманно отказываются; Иван Иванович, однако, не отстает, атакуя их с новой силой, и наконец побеждает: гости выкушали по рюмке сладкой водки и посмаковали тенерифцу.

– Ах!.. ах, разлюбезное это дело! – восторженно умиряется, и сам не зная чему, Иван Иванович, причем егозит на стуле, всплескивает руками и щелит свои и без того узкие масляно-бегающие глазки.

– Нет, черт возьми! – вскакивает он с места и, схватив со стула гитару, запекает разбито-сладостным тенорком, со своими ужимками:

И вы, ды-рузья, моей красотки  
Не встречали ль где порой?  
В целым нашим околотки  
Нет красоточки такой!  
Эта девушка-шалуня,  
Эфто Грунюшка-игруня –  
Только юбка за душой!

Тетенька сосредоточенно курит папироску, пуская дым через ноздри; Аграфена Степановна конфузится и краснеет, а Иван Иванович снова уже швырнул на диван гитару и в каком-то экстазе, ударяя себя кулаком в перси, говорит:

– Тетенька! распропаций я человек, потому – круглый сирота! И при моем сиротстве горьким, только вы одни у меня и остались... Добродетельная, можно сказать, сродственница! Хоша я и при своем капитале, однакоже проживаю в уединении. Только и услады одной, что чижа вот с клеткой купил, и преотменно, я вам скажу, поет, бестия, индо все уши прожужжит! Одначе ж он не человек, а как есть по всему чиж, так и выходит глупая он птица; а мне, при таком моем чувствии к коммерческим оборотам, требуетца теперича подругу. Правильно ли я полагаю, Аграфена Степановна?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.